



## Над Плещеевым озером

### Находка

Известный драматический актёр Юрий Васильев начал рыть яму, чтобы посадить сирень в палисаднике купленного им в деревне Криушкине дома. Лопата упёрлась во что-то упругое, плотное. Васильев прибавил усилия и стал понемногу отковыривать то, что лежало под дёрном и слоем земли. Это были брёвна старой постройки. Изъеденные временем охристые обломки Васильев выбрасывал на траву, пытаясь пробиться сквозь брёвна — они уходили глубоко. Он так и не добрался до нижнего венца, засыпал яму землёй, перемешанной с торфом, и посадил кусты сирени, привезённые из питомника.

с. 152

Обломки ещё долго лежали на траве — свидетели прошлого, того, что ушло в глубь веков и нынче забыто. Когда начались весенние грозы, их смыло потоками в Плещеево озеро, казалось, и память о них ушла. Но как-то мой сосед, живущий через дорогу, сидел, щурясь от солнышка, на скамеечке, нога на ногу, в валенках, крикнул: «Какие новости, Митревна?»

Я подошла, опустила рядом. День был весенний, яркий, солнце смеялось и, словно по льду, катилось по чистому небу. На старой рябине свистели скворцы, а с горки из школы бежали, размахивая портфелями, ребяташки — эдакая живописная стайка.

Дядя Саша, так звали соседа, проводил их задумчивым взглядом, закашлялся от глубокой затыжки и, отерев ладонью лицо, спросил с любопытством:

— А правда, слышь, говорят, что в нашей деревне дружина Александра Невского стояла?

Я сразу вспомнила о находке Васильева.

— Может, легенда? А кто говорил?

— Вот не скажу, забыл. Нынче ведь как-то речей не ведут об этом. Вроде бы интерес потеряли. Культура в деревню пришла. Телевизоры. Вон сколько их. — Он показал на крыши, над которыми высились мачты.

— А раньше какие развлечения? Кто помоложе, с гармошкой, припевки, прибаски разные складывают, хороводятся, а старикам куда? Сходят в церковь, службу послушают, на образа поглядят. Скажу тебе, образа у нас в Переславле были, теперь в музеях их выставляют. Ценность большую имеют. А вечером соберутся на завалинке и толкуют о том, кто что от дедов слышал. Я вон такой был — он кивнул вслед разбежавшимся по домам ребяташкам, — а всегда вертелся где-нибудь рядом. Любил слушать стариков, так и ловил, что гуторят. Книг тогда не читали, а историю помнили. Шло по цепочке, от древности и до нашего времени.

— Значит, от них узнали?

— О дружине-то? Может, от них, не хочу соврать. А только, пожалуй, так и случилось...

Предположение, высказанное соседом, показалось мне весьма вероятным. Князь Александр Ярославич родился в Переславле-Залесском. Суровая его жизнь проходила вся в ратных походах и походах. Но, будучи князем новгородским и киевским, а также великим князем владимирским, он и родного Переславля не забывал, наведываясь сюда со своей дружиной.

с. 153

Я стала расспрашивать старожилы, не слышал ли кто о дружине. Вопреки замечанию дяди Саши разговор об истории вызвал жадный, живой интерес криушан, и тех, кто постарше, и кто помоложе. Мои собеседники не равнодушно, как говорят о давно ушедшем, чужом, доказывали, что дружина, когда после Невской битвы юный князь вернулся в свой Переславль, располагалась в деревне Княжеве, лежащей в полутора километрах от озера, — отсюда, мол, и название. Это мнение тут же опровергалось. Учитель Павел Ерофеевич Теплов, сам родом из Княжева, считал, что деревня их появилась позднее. Возможно, она имела отношение к князю, но

вряд ли к Александру Невскому. Теплов вспоминал, что в Княжеве жил девяностотрёхлетний старик Исаев Федот, который знал немало бывальщин.

Теплов — это было в тридцать первом году — только что начал работать в школе и всё дожидался каникул, хотел записать старика. Когда же приехал, старик уже умер, унёс с собой всё, что знал. Один из его рассказов Теплов всё же помнил и полагал, исходя из него, что дружина Невского не могла стоять в Княжеве, потому что и Княжева самого тогда не было.

Федот рассказывал, что на речке Мосе была когда-то «огромнейшая торговая деревня». Кто-то занёс заразу, все люди вымерли, остались лишь те, кто в то время находился на заработках. Вернулись, смотрят, а в деревне одни мертвецы. Даже собаки и те передохли или в лес от страха сбежали. Тогда они дома подожгли, а сами как пришли, так и ушли, ничего не коснулись. Нашли в лесу подходящее место, заладили там другую деревню, жён привели, стали жить. Это вот, как говорил Федот, и есть оно, Княжево.

Мором могла быть чума, не раз поражавшая Европу в XVI—XVII веках, или холера, частенько гулявшая по российским губерниям. Всё это, однако, предания и догадки.

Мнение большинства сходилось к тому, что дружина стояла в Криушкине — подлинно древнем селении.

— Ты знаешь Александрову гору. Ну, с нашей деревней рядом. Там князь и жил. Куда же дружина от князя? Всегда должна стоять под рукой, особенно в то тревожное время: с запада и с востока на Русь наседали враги. Крушили всё, убивали людей, угоняли в плен.

В середине прошлого века на прославленной Александровой горе — высоком кургане, названном именем князя, археологи раскопали развалины стен и фундаменты старых построек, в том числе княжьего дома. Сюда Александр Ярославич приехал после той выдающейся победы над шведами, в которой раскрылся талант и острый, недюжинный ум двадцатилетнего полководца.

В родном Переславле он застал лишь развалины и пожарища — след нашествия хана Батыя. С той же страстностью, с которой князь Александр защищал свою Родину, он взялся за укрепление города. Восстанавливал крепостные стены, башни, валы, а сам жил у озера на горе.

Под развалинами Александрова дома археологи обнаружили угли, остатки золы, предметы быта древних славян. Весной они жгли Кострому — чучело из соломы — символ зимы, гуляли и радовались приходу весны. Холм и теперь иногда называют Ярилиной плешью, но те, в чью память запало это языческое название, не помнят его значения.

Победа в устье Невы, одержанная князем, была не первой битвой его с врагом. Четырнадцатилетним отроком Александр облачился в доспехи и вместе с отцом отправился на войну против рыцарей-меченосцев, шедших новым разбойным походом на Русь. В тот раз под ударами оказались новгородские и псковские земли.

До наших дней дошли свидетельства очевидцев о том, что юный воин, сидя на коне подле своего отца Ярослава Всеволодовича, наблюдал, как тонули в реке под проломившимся льдом закованные в тяжёлые латы разбойные рыцари-меченосцы.

Спустя всего восемь лет он, уже прославленный полководец с громким именем Александр Невский, повторил тот маневр: рыцари, закованные в железо и, казалось бы, неуязвимые для копий и стрел, снова шли походом на Русь. Александр повёл с противником бой не в снегах, а на льду — в наиболее для него невыгодном месте.

То Ледовое побоище принесло Александру мировую славу. Его современник записал в «Житии», что «нача слыти имя его по всемь странам, и до моря Египетского, и до гор Араратских, и об ону сторону моря Варяжского и до великого Рима».

Князь-воин, князь-патриот, выдающийся мыслитель и государственный деятель не только «остановил движение ливонских рыцарей и шведов на русские земли», но «умелой политикой долго удерживал орды Батыя от разорительных набегов на русские города». Так он и вошёл в историю нашей Родины.

Семь с половиной веков назад! И нынче этот подвиг его волнует людей. Едут и едут в Переславль-Залесский, на родину Невского, автобусы с экскурсантами. В городе сохранились валы, защищавшие жителей от набегов врага. В древнем центре уютно стоит древнейший из памятников прошлого — скромный, суровый, из белого камня Спасо-Преображенский собор, построенный суздальцами в середине XII века. Перед ним, поставленный уже в наше время, высится бюст знаменитого полководца.

В Переславле-Залесском поистине «каждый камень историей дышит». Обломки старой избы, обнаруженные Васильевым, едва ли относятся ко времени Александра, и вряд ли ушедшая

в землю изба давала приют дружинникам князя. Но они, как ни странно, сделали осязаемым то далёкое время. И часто в задумчивую закатную пору, глядя из окна своего стоявшего на пригорке дома, я представляла далёких предков нынешних криушан на длинной кривой и бугристой улице, занятых своими простыми житейскими делами — колющих дрова, ставящих заборы или отгоняющих на пастбища скот.

с. 154

Говорят, и деревню называли от этой уличной кривизны с прогибом на озеро. Разъезженная, волнистая, в пологих спусках и долгих подъёмах дорога бежит с востока на запад. В часы восхода, когда солнце начинает своё путешествие над земными просторами, и в особенности когда опускается за леса и его косые лучи освещают неровности, окутывают теплом исхлещенные дождями стены домов, когда ползут, вытягиваясь, мягкие тени, кривизна придаёт деревне особую живописность, свойственную старинным русским селениям. Почему-то именно в эти вечерние часы возникает ощущение древности. Оно пробивается сквозь тишину мычанием возвращающихся с пастбища коров, опухивает исконными запахами деревни, мягкими тенями глядит из ушедших глубин. И тогда оживает другая гипотеза, высказанная краеведом Сергеем Дмитриевичем Васильевым, участником многих этнографических экспедиций, проводимых сотрудниками Переславльского историко-художественного музея. Полагаясь на документы, на материалы, добытые во время раскопок, он высказал мнение, что деревню называли Криушкино потому, что на этом крутом берегу ещё в VIII веке поселились славяне-кривичи. Селение их со временем разрослось, и, как вспоминают старики, в предреволюционный период в нём было около полутора десятков тесно прижавшихся друг к другу домов. В тридцатых годах начался отлив населения из деревни. Но даже и сейчас в ней семьдесят с лишним домов. Живут в них главным образом Ширшиковы, Кукушкины, Шальновы, Фадеевы; большинство из них связано близкими и дальними родственными узами.

Женщины-криушанки славилась трудолюбием и добрым, отзывчивым нравом. Их охотно брали замуж в соседние деревни. Реже принимали примаков — берегли душевые надёлы.

С середины двадцатых годов, и особенно после войны, в Криушкине стали селиться приезжие. Лет десять назад это место облюбовали москвичи, и Юрий Васильев был одним из тех, кто купил опустевший дом у старухи, вслед за молодёжью уехавшей в город.

---

Первым из москвичей здесь появился скульптор Александр Казачек. Любя всем сердцем природу средней России и черпая из неё ощущения мощи, свободы и красоты, он бродил однажды по чащам ярославских лесов. Отдыхал, обдумывал образы новых своих работ, ночевал на душистой хвое под лапами елей, но, когда подъял прихваченный из Москвы провиант, голод несколько поубавил его восторги. Казачек провёл бессонную ночь и ещё затемно, отыскав лесную дорогу, пошёл по ней наугад, зная, что выведет к людям.

Начало светать, когда он добрался до деревни, лежащей на горе, над Плещеевым озером, пребывающим в утренней дрёме. Солнышко ещё не коснулось воды, она лишь слегка зарделась от розовых облаков, громоздящихся на широком, открытом своде небес. С запада, за спиной путешественника, неподвижно стоял зачарованный лес. Южный берег озера цветными уступами обнажений сбегал к воде; город, лежащий вдалеке, был затянут дымкой, но зато на востоке, в розовом пламени разгорающегося восхода, отчётливо выступало дивное, словно из пушкинских сказок, сооружение, огороженное белой стеной, с круглыми и квадратными угловыми башнями. Из-за неё выглядывали покатые крыши и вскинутые на тонких шеях луковки соборных куполов. Казачек узнал его сразу — древний Никитский монастырь, поставленный при Иване Грозном на месте ещё более древней Никитской обители. Он сохранил с XVI века свой внешний вид, напоминая о времени боярских заговоров, восстаний вконец разорённых крестьян, о кровавом разгуле опричников — тоже рыцарей ордена метлы и собачьей головы, — созданного болезненно подозрительным царём Иваном IV, чтобы «выметать видившуюся ему во всём крамолу» и «грызть изменников».

Позже могучая твердыня монастыря не раз своей каменной грудью встречала войска иноземных захватчиков, особенно в пору Смутного времени, наступившего после угличского убийства.

Налюбовавшись высоким, гармоничным творением русских зодчих, Казачек, подгоняемый жаждой и голодом, добрался до деревни и зашагал по улице. Деревня только что просыпалась. Мычали коровы, орали петухи, пахивало дымком, начавшим струиться из труб, — печи топили здесь и летом — готовили корм скоту.

Он помог какой-то бабке привязать бычка, соскучившегося за ночь стоять взаперти и теперь скакавшего во всю резвую силу. Старушка в благодарность растолковала пришельцу, где найти продавщицу Машу, поди ещё тоже пребывающую в постели, потому как открывается лавка в девять часов, да и то не всегда — всё зависит от обстоятельств, связанных главным образом с привозом продуктов.

— Ты не бойся, стучись, — говорила старушка, не упуская из виду всё ещё скакавшего крутолобого сорванца. Убедившись, что он надёжно прикручен ко вбитому в землю колышку, улыбнулась беззубо, покачала головой.

— Маша-то покричит, поругается, не без того, но ты не страшись, человека уважит.

Казачек отыскал высокий голубой дом со светёлкой и палисадником, нерешительно потоптался на крыльце — он был от природы человеком деликатным — и, помня напутствие бабки, тихонько постучал.

Маша вышла сразу — она не спала, занимаясь хозяйством, — и правда ругалась, трясла головой в мелких колечках перманента, и, хотя напускала на себя строгость, в лице её ещё не пропала природная доброта, как, по-видимому, и в характере. Не глядя на Казачка, хлопая большими резиновыми сапогами, она шла в магазин. Отказавшись от помощи, отомкнула замок, выложила на прилавок буханку чёрствого хлеба, консервы и всё, что полагалось отощавшему путнику, защёлкала счётками, отсчитала сдачу и только тогда с любопытством посмотрела на раннего покупателя, обросшего чёрной густой бородой.

с. 155

— А вы случайно не батюшка? — поинтересовалась она и уже готова была пуститься в рассуждения о безнравственности поведения духовного пастыря, призванного наставлять заблудших овец, но Казачек отрицательно потряс головой: нет, мол, не батюшка, и тут же на бугорке у пруда устроился завтракать.

Этот сам по себе незначительный случай привёл к последствиям, для него самого неожиданным. Поразмыслив о добросердечии криушан, Казачек вскоре снова наведался в деревню, ближе познакомился с её обитателями, а на следующее лето купил пустовавший дом.

Как говорится, лиха беда начало. Вслед за ним, прельстившись добрыми слухами и красотой окрестностей, в деревне появился ещё один художник, потом сразу несколько москвичей, в том числе и литератор Бычков с семьёй. Он так горячо расхваливал Криушкино, что мне захотелось его посмотреть.

Мы на машине ехали из Москвы почти четыре часа, вскарабкались с осторожностью на гору, и полное разочарование постигло меня. Серебристые, крытые дранкой дома, заборы из неровных кольев, за домами длинные огороды, какое-то всё сиротливое, голое, сверху придавленное пушистыми облаками. Даже озеро, берегом которого шла от Никитского монастыря дорога, не произвело на меня вначале особого впечатления.

## Мой дом

Но что же она за деревня такая, Криушкино! Приехав туда впервые и увидев ряды показавшихся мне жалкими домов, я подумала, что удовольствие это не для меня. И бог знает как далеко от Москвы, и красоты-то особенной нет, и лес в стороне, и колодцы отсутствуют. На улице вроде бы голо, бедно и неудобно. А неделю спустя я опять приняла приглашение. Дом Бычковых стоял на Кундыловке, в длинном ряду домов, обращённых фасадами к озеру. Мы варили уху на костре из рыбы, наловленной в озере, ходили в лес, оказавшийся совсем и недалеко, рвали ландыши, собирали сморчки, гуляли по берегу и сажали картошку. Вечером, сидя за самоваром, я, глядя сквозь ветви цветущих вишен на простирающуюся за окном озёрную гладь, то розовую, в муаре течений, то лиловато-серую, то тёмно-свинцовую, в том же муаре, неожиданно для себя спросила:

— А что, не продаётся ли тут ещё какой дом?

Дом вскоре нашёлся.

Он был высокий, стоял на горе, из бокового окна просматривалась вся криушанская улица до её изгиба. А из фасадных окон, особенно из крайнего, виднелась часть озера за косогором и в дымке за ним — Переславль, белые стены Горицкого монастыря, ведущего исчисление возраста со времён Ивана Калиты, то есть с начала четырнадцатого столетия. На него всегда хотелось смотреть — и днём, и вечером, когда монастырь исчезал, но в городе загорались огни. Они становились всё ярче, переливались, дрожали от тока воздуха, сверкая, как драгоценные камни.

Всю зиму дом пустовал, но лишь потеплело, подсохло, я, несмотря на трудность дороги, стала регулярно сюда приезжать. Мыла, скоблила, красила, находя в этом для себя какое-то вдруг воскресшее, истинное удовольствие, и чем больше работала, тем сильнее привязывалась к избе.

Была пора весеннего сева. Окна были открыты, по дороге деловито носились машины и мотоциклы, с полей, с двух сторон подходивших к избе, долетало рокотание тракторов, но звуки эти в отличие от городских не раздражали, я их почему-то не замечала. Наверное, поэтому не обратила внимания на грузовик, остановившийся перед окнами на дороге. Скрипнула калитка палисадника, в дверь постучали; глянув в боковое окно, я увидела на крыльце высокого, переминающегося с ноги на ногу человека.

Он как-то нерешительно поглядывал то на дверь, то на крону вётлы, растущей возле забора, там, где когда-то рядом был дом, да, как мне сказали, сгорел, а пустырь зарос крапивой, полынью и лопухами. Что гость там нашёл интересного?

Заметив меня в окне, он кивнул и знаками показал, что хотел бы войти. Я открыла, он, пройдя вслед за мной, в избу, попросил воды напиться.

Взяв стакан, он посмотрел на свет и сказал: «Из родника берете. Раньше вся деревня в овраг ходила».

Пил медленно, словно бы без охоты, и всё озирался вокруг.

Поставив стакан на стол, он продолжал топтаться, всё так же осматриваясь, и на лице его блуждала какая-то непонятная мне улыбка.

Я кашлянула. Он повернулся и, видимо уловив невысказанный вопрос, сказал, как будто продолжая начатый разговор:

— А дело в том, что я в этих стенах родился. Печка была другая, а так всё как прежде. Вон и зарубка даже цела. — Он показал на притолоку. — Мать сделала, незадолго перед тем, как мы отсюда уехали. — И загрустил, улыбка сбежала с лица, оно постарело, погасло.

— Вы ещё маленьким были тогда... — Я едва разглядела впадинку, примерно в метре от пола, покрашенную слоями красной масляной краски.

— Пять лет мне исполнилось. В тридцатых годах. А помнится всё, как вчера. Странно это — сколько пережил человек, а тут всё так же. Вон и дорога вьётся. Мать тут, бывало, сидит у окошка, прядёт, а сама всё на дорогу глядит, кто к нам идёт. Давно хотел посмотреть, да случая не было.

Гость поблагодарил за воду, взялся уже за дверную ручку, собираясь уйти, да я задержала вопросом:

— А вы сейчас-то издалека?

— Нет, на том берегу живу. — Он кивнул в сторону Переславля. — Не ездил сюда, не доводилось.

— Вы что же, сами строили этот дом? Имею в виду родителей.

Гость усмехнулся.

— У этого дома история сложная... — И шагнул за порог. Он уже почти вышел, а я спохватилась, бросилась вслед за ним.

— А как же фамилия ваша?

— Простите, что не представился. Фадеев, работаю в Переславле. — Назвал какое-то предприятие и, уже не оглядываясь, сел в машину, и она понеслась к Городищу, а я как-то по-новому посмотрела на дом.

Сложенный из толстых брёвен, он был высок. С улицы до оконных рам нужно было тянуться рукой. Перед фасадом росли могучая липа, тополь, черёмуха. Внутри — высокие потолки, три с лишком метра, красивые, гладкие, из розовато-жёлтых еловых досок. А в двух стенах — там, где большое боковое окно, и за печкой — были когда-то нынче заложенные врезанными брёвнами двери, а щели забиты мхом. Откуда они взялись, эти двери? В избах обычно бывал один только вход.

Мой прежний хозяин купил этот дом у живущей неподалёку Надёжки Кукушкиной, телятницы на совхозной ферме, а ей он достался в наследство от матери. А что было раньше? По-разному вспоминали, но полнее всех рассказал мне о доме восьмидесятидвухлетний Абрам Иванович Галченков, бывший лесник, живущий на Кундыловке с семидесятишестилетней женой Дарьей Васильевной и сыном Борей, тоже немолодым.

Мы сидели с ним в его покосившейся небольшой избёнке — я думала, что лесник, хозяин деревьям, мог бы срубить домишко и побогаче. Мог бы, конечно, но всю жизнь он провёл

в лесу, а как на пенсию вышел и переехал в деревню, то строиться было поздно. И силы не те, и к старости люди вообще бывают скромнее.

— Все эти леса вокруг принадлежали Кислихе. Кто она — не скажу, может, и слышал, не помню. Только забогатела шибко, — начал он свой рассказ. — Во время германской войны, в четырнадцатом году, всех стали в армию забирать. Забрили и меня и тестя моего — он жил в сторожке. Лес охранять стало некому. Дарья пошла к лесничему, Свиридов тут был, — так, мол, и так, уж разреши мне остаться в сторожке и службу нести за отца моего. Лесничий был строгий, баловства не любил. Смотрит на женщину, сомневается.

— Здесь нужен крепкий хозяин, чтобы лес знал и любил и судьбу свою с ним навечно связал. Как можно на вас надеяться, вернётся муж, уйдёте в деревню.

Она мне пишет письмо, какие, дескать, намерения у меня. Я ей в ответ: «Держись в сторожке, вернусь живой, там будем и жить».

Раз так, лесничий согласие высказал.

А тут революция, потом гражданка. Я всё воюю. Теперь за Советскую власть. Дарья живёт в сторожке, работает за лесника. Потом, как меня отпустили домой, я принял дела. Леса Кислихины в то время стали в госфонд переходить. Эх, леса стояли, непроходимые, чистые! Ель да сосна. Зверья полно. Помню, ещё до войны Дарьян отец медведя убил на восемнадцать пудов. [295 кг]

Сейчас тут больше осина с берёзой. Но стали сосну и ель сажать. Я сам, как работал, старался свободные площади засадить, чтобы не пустовали. Хорошие ельники поднялись. Рыжики появились. Зверьё опять развелось. Лося сейчас полно, особенно много кабана, барсук тоже водится. Лиса, куницы, белки — всё это наш зверь. Зайца, правда, мало. Зато птицы богато: рябчики, тетерева, глухари, дятлы. Даже орла видел. Иду по лесу, и вдруг захлопала невероятная птица, раскинула крылья, взлетела — орёл. Есть змеи — опасайтесь, ужи — они без вреда, словом, и нынче живой наш лес.

Вот в том лесу, у Купани — там и сейчас уцелели дубравы, — стояла барская дача. Хоромы помещицы Галчихи. Надеждой Дмитриевной звали. Кислихе потом продала, а у неё купили братья Фадеевы, лавку они в Переславле держали. Продуктами торговали. Дом этот разделили. В той части, где вы теперь, жил Василий с семьёй. Жена у него была красавица из красавиц. Взял он её из Городища. Детей у них было много. Ванюшка помер, двоих убили в войну. У вас, поди, был Андрей. Последний. Он да сестра его из всей семьи уцелели, в Переславле так и живут. Плохого о них не слышно. Андрей-то старательный, трезвый, говорят, человек...

Дом был сначала поставлен в конце деревни, поближе к лесу. Потом его разобрали, перенесли на другой конец, там он стоит и сейчас. После Фадеевых в нём поселилась какая-то их родня, а от неё дом перешёл по наследству Надёжке. Она за ненужностью охотно его продала приезжему человеку. Тот сразу развёл большое хозяйство — сажал на продажу картошку, чеснок и лук, держал полсотни гусей, лечил заболевших травами, благо в округе их тьма невидимая, этих лечебных трав, собирай да суши. Складывал он и печи с замысловатыми дымоходами, плохо греющимися, да куда денешься, если вымерли настоящие мастера, печи которых держали тепло по трое суток. Когда после смерти жены он снова женился на переславльской старушке, изрядно уже постаревший, но ещё крепкий, дом ему стал не нужен и он его продал.

Иногда, вечерами, сидя за письменным столом, в тишине, я слышу, как под полом начинают царапаться мыши. Как от чьих-то шагов поскрипывают половицы, а за окном раздаются шёпот, шорохи ветра. И мне начинает казаться, что это через мою бревенчатую избу проходят и уносятся ветром события нашего бурного двадцатого века, так изменившего всю деревенскую жизнь.

## Жаркое лето

с. 157

Один из подмосковных краеведов нашёл в древних летописях сообщение о том, что шесть столетий назад, летом 1371 года, Москву и её окрестности постигло зловещее бедствие. Весна была ранняя, жаркая, лето сухое. Угарная мгла застелила землю, закрыла свет неба и солнца. Люди, охваченные тревогой, бродили по улицам, шарахаясь от зверей, доселе обитавших в лесах Подмосковья. Стихийное бедствие сблизило всех — о нападении ни звери, ни люди не помышляли.

В августе ударил мороз, в небе заколыхались сполохи, и начались снегопады. Весь, скудный в тот год, урожай так и остался неубранным. Голод уже стучался в дома, когда в феврале стало таять и люди взялись за жатву, спасая ничтожные остатки хлебов.<sup>1</sup>

И вот ровно шесть столетий спустя, у всех на памяти, в лето 1972 года, всё это будто бы повторилось. Стояла сушь, и по средней России горели леса. Угарный, удушливый чад наполнил столицу, исчезли во мраке верхние этажи высоких домов, антенны, фабричные трубы, колокольни. В синем тумане, день превратившем в сумерки, все двигались осторожно, замедленно. Чувство тревоги висело над городом. Кругом пожары... Пожары... Беда!

И вечер не приносил облегчения. Жар излучали стены, смрадно дышал асфальт, и плотная пелена держала всё это у самой земли, съедая остатки свежего воздуха.

С балкона десятого этажа не видно было ни земли, ни соседних домов, тускло белели размытые мглой огни фонарей, хотелось вздохнуть, но воздуха не хватало, от гари першило в горле, гудела усталая голова.

В один из таких удушливых дней мы с сыном решили поехать в деревню. Дело шло к ночи, когда после многочисленных пересадок мы добрались до поворота дороги, ведущей к озеру.

Я очень люблю эту часть дороги. С возвышенности от Никитского монастыря днём открывается чаша Плещеева озера. Чудо природы, чистые слёзы когда-то истаявшего здесь ледника, оно всегда излучает прохладу, дышит простором и естественной красотой. Сейчас оно было проглочено тьмой, но мы спешили к нему, к его прохладе. Теперь оно было близко, но неожиданно нас задержал дежурный.

— Проходу нет, — сказал охранник и осветил фонарём: узнать, что за люди. В то время все были настороже, достаточно было окурка, как принималось гореть.

— Да мы в Криушкино! — Я показала бумагу.

Парень, стоявший у шлагбаума, читать не стал, спросил для порядка, кто наши соседи. Я назвала их.

— Вы, значит, с краю? — Голос его смягчился, он поднял шлагбаум, мы двинулись дальше, не видя дороги, и только перекликались, предупреждая друг друга о выбоинах и ямах.

Сбоку остался невидимый монастырь, уже начался пологий спуск к озеру; стало заметно легче идти, когда позади раздался треск мотоцикла.

Свет фар, догоняя нас, бежал по земле, блуждал в дыму, выхватывая на обочине цветки или кустик, неузнаваемо преображал их, рождая причудливые образы.

Догнав нас, мотоциклист остановился и предложил:

— До Городища еду, садитесь...

Я опустила в коляску, Никита устроился сзади водителя. И снова фары шарили по дороге, с трудом пробивая сизую мглу.

Здесь воздух был также наполнен удушливой гарью, но всё же дышалось легче, чем в городе. Он был первобытней, без испарений асфальта, бензина и раскалённого камня, пахнул дымком из трубы самовара, когда его ставят еловыми шишками, сухой землёй, деготьком, — так, помню, пахли телеги, скрипящие на рязанских просёлках.

За тёмным провалом озера, вдалеке, на небе лежало кроваво-багровое зарево. В нём было что-то зловещее, как война.

— Где это горит? — Я невольно поёжилась.

— К Усолюю придвинулось, — водитель смотрел вперёд, мне сбоку был виден его тревожный и красный от зарева глаз. — Вторую неделю горит, — он по-старинному окаял, но я привыкла к ярославскому говору, в нём сохранилась примета времени, места, народной самобытности и в то же время какая-то строгость и основательность, особенно в речи мужчин. Женщины говорили мягче, певучей. — Чуешь, чадит как. Болота горят, в лес теперь не пускают — опасно...

Коляску подбросило на ухабе, водитель ругнулся, умолк и больше не проронил ни слова до самого поворота дороги на Городище. Прощаясь, он заботливо предупредил:

— В орешнике будьте поаккуратней. Там змей видали. Переползли из болот. Каждая тварь спасается от огня...

Звук его мотоцикла стал удаляться и вскоре заглох совсем. Обрушилось космическое безмолвие. Тишина. Дорога вскоре нырнула в кусты, исчезло закрытое лесом зарево. Тьма стала

<sup>1</sup>Смотри, например, Никоновскую летопись (ПСРЛ, тома 9—13. — *Ред.*

такой непроглядной, что её приходилось взламывать, прорывать. Зато зашуршали иссохшие листья орешника и дубков, как будто к ним тоже подбирался огонь, сушил, обдавал раскалённым дыханием. Усилилось чувство беды, незащитности перед стихийной силой природы.

Где-то жила Москва, работали предприятия, готовились к героическим странствиям космонавты. А здесь в этот час всё было так же, как, вероятно, тысячелетие назад, когда на холме, за которым скрылся оставивший нас человек, стоял окружённый и нынче сохранившимся валом город на волоке торгового водного пути, первый в этих лесных краях носивший имя по названию озера. А озеро называлось Клешино; оно при малейшем ветерке, как говорили тогда, клёскало, то есть плескало волной. Это при Петре Клещей уже был Плещеем. Пленённый его красотой, царь Пётр построил здесь первый в России флот, от которого остался один только ботик.<sup>1</sup>

с. 158

В музее, где он установлен, вывешен строгий указ Петра воеводам переславльским сохранять навеки памятники народной истории, ибо всякое небрежение к ним, как говорил мудрый царь, скажется на потомках.

Во время Петра город Клешино уже не существовал. Останки его давно погрузились в землю. Но странно, будто какая-то тайная сила тянула оттуда к себе, рождая ощущение тревоги и одиночества, которые, вероятно, испытывали предки в пору таких вот стихийных бедствий.

Взбираясь на крутояр, к деревне, давно, казалось, умершим, но вдруг обострившимся инстинктом мы находили дорогу и не споткнулись, не сбились с пути, не провалились в оставленные вешними водами ямы на бровке дороги. На змей мы тоже ни разу не наступили. У самой деревни над снова окликнул дежурный:

— Кто будете, по какому делу?

В дежурном я узнала соседа Колю, в то время работавшего в милиции.

— Что поздно? — Он тоже узнал нас.

— Да разве близко?

— Это уж так. Давно у нас не были...

— Ну как тут дела?

— Хорошего мало. Вон как полыхает...

Зарево, снова видное, разгоралось, светлело и лиловато отсвечивало сквозь дым.

Дежурный Коля, всегда весёлый, отзывчивый паренёк с лихим, отливающим золотом чубом, сейчас был встревожен и удручён.

— Низом идёт. Того гляди пожалует к нам, — он говорил об огне.

— А разве под нами торфя?

— Под нами-то нет, а близко. Искорка долетит, и будет довольно. Дранка вся высохла, накалилась, как порох. Моргнуть не успеешь, деревню сожрёт. Мы тут дежурируем круглые сутки. По очереди, с двух концов.

Сын ушёл побродить по деревне — он тоже соскучился о Криушкине. Я долго возилась в сенях, отмыкая дверь. В прохладной пустой избе заныл комар; прихлопнув его, я поразилась, насколько он высох — пустое, прозрачное тельце и тонкая плёночка серой кожицы.

В открытые окна клубами валил дым. Стало душно. Тревога не проходила. Всю ночь в деревне перекликались дежурные, влаивала собака. К утру я заснула.

Разбудил меня гвалт, доносившийся с улицы. Я выглянула в окно. По деревне, ошалев от испуга, неслось какое-то странное обгоревшее существо. Что это была лиса, я узнала потом, когда догнавшая её в три прыжка здоровая рыжая собака схватила и, переломив ей хребет, притащила хозяину.

Мне было жалко лису. Спасаясь от огня, она погибла там, где, может быть, в лучшие времена заглядывала в курятник. Хозяйки, бывало, где-нибудь на лужке находили лишь лапки да пёрышки — свидетельства пира лисицы. Она, может быть, и бежала сюда по знакомой дороге, ища спасения у людей. О том же ведь шесть веков назад писал летописец — во время стихийных бедствий звери ищут спасения у людей.

Происшествие долго обсуждалось на улице. К женщинам подошла старуха, тащившая за верёвку на луговину козу. Та упиралась и тянула хозяйку обратно, в прохладу двора. Солнце, едва поднявшись, жгло с яростной, испепеляющей силой, и было странно, что на этой иссохшей, каменно затвердевшей земле ещё держатся стебельки колокольчиков, цветут лиловатые дикие васильки, мелкие, серые листики подорожника. Кусты и деревья стояли зелёные, но жар

<sup>1</sup>Имеется в виду первый военный флот. Гражданский флот существовал и до Петра. — *Ред.*

был настолько велик, что листья их высохли на ветвях, они съёжились, не успев облететь. Во всём были видны страдание и усталость.

На выгоревшем лужке, возле спуска в глубокий, с крутыми откосами овраг, старуха привязала козу к вбитому в землю колышку, и та заметалась, ища поживы.

— Беда-то какая, — стонала старушка. — Что теперь с нами будет... Что будет...

Я по тропинке спустилась к озеру. Оно не давало прохлады, лежало, застыв, оловянно-тяжёлое, всё в чёрных пунктирах лодок, жужжащих моторами, как мухи в паучьих тенётах. Рыба в нагретой воде задышалась. Ей нечем было дышать, она выплывала на поверхность, клёв был хороший.

Над лесом за озером, словно от взрыва, взлетали клубы дыма. Он начинал расползаться, туда устремлялся вертолёт, всё время патрулирующий в небе. Он подавал сигнал, и к новому очагу спешила спасательная команда пожарников...

В полдень из леса пришёл отдохнуть Андрей. Он несколько суток гасил огонь, почти не спал, не ел и так устал, что даже не мог пойти умыться. Как сел на приступке крыльца, грязный и опалённый, скинув на землю брезентовый плащ, так и сидел, не двигаясь.

— Ну, что в лесу? — тревожно пытались соседи.

— Горит. Страх горит. — Закашлявшись, он вытер лоб и размазал сажу. — В Талицах занялось. Пока мы машиной из города добрались, огонь подошёл ко Мшарову. Мы — лес рубить, делать просеки, чтобы не допустить к болотам. Да силы у нас какие? Один бензовоз. Пока туда-сюда обернёмся, тут уже новый очаг. Искра попала, и сразу займётся. Сначала, как змейка, потом ручейком, Моргнуть не успеешь, а он ревёт, словно зверь. И это бы ничего при тишине. А ветер подул — огонь по вершинам, и ну махать через наши просеки. Сами еле бегом убегли.

Соседи присаживались рядом с Андреем, мужчины молча курили, а женщины любопытствовали, правда ли, что из Мшарова больницу перевели куда-то, говорят, в безопасное место.

— Да, это уж так, — подтвердил Андрей. — Мшарово, сами знаете, — на пяточке. Кругом болота, торфа, и под деревней торфа. Того и гляди подгорит. Страшное дело, как вывозили. Машины обкладывали мокрым брезентом. Одна всё же вспыхнула, доктор весь обгорел, когда они вместе с шофёром огонь гасили.

Все принялись обсуждать происшествие.

Андрей же только качал головой: «Тринадцатый год состою в пожарниках, такого огня не помню. Главное, глубоко ушёл. Теперь не походишь по лесу».

— Останемся без грибов...

— И без ягод...

— Полена дров не достанешь, — стонали женщины.

— А как же погасят? — Я села рядом с Андреем.

— Теперь дождей надо ждать. Снегов. Талыми водами зальёт. А нет, так на будущий год перейдёт...

— А правда, солдаты гасили?

— Без них бы пропали...

Ширшиковы — старинный криушкинский род. «Дед ещё сказывал, что все испокон веков с топорами ходили». Плотничали, из рода в род передавая своё мастерство. Отец Андрея был на деревне первым плотником и столяром. С двенадцати лет и Андрей с артелью пошёл впервые на заработки. С тех пор домов понастроил — нет счёту. Работал до самой войны. На фронте три раза был ранен. Пешком — пехота! — прошёл от Львова до самой аж Праги. Всё время передовая. В комодке хранит медали «За отвагу», за взятие городов, за победу в Великой Отечественной войне на Западе и на Востоке. Там и закончил Андрей свои боевые походы.

Потом опять звенел Андреев топор. Росли дома на Чукотке, на Южном Сахалине. Немало поколесил по свету. Уж как хвалили, как зазывали остаться. Он ни в какую. Приехал домой, женился. Выбрал красавицу Александру, степенную, рукодельную, умную. Жить бы да жить! Откуда они навалились, болезни?

— Уж до чего был здоров! — Андрей никак не мог понять, что с ним случилось. — Схвачу, бывало, бревно, попру на плече, словно какую жердину. Косить пойду — все в хвосте. Как мать схоронил, так словно оборвалось...

Сначала упал с девятого ряда брёвен. Потом сучок отлетел. Он твёрдый, как дробь. Ударило возле глаза. Всё думал, ушиб да ушиб. А обернулось хуже. В больницу лёг. Операцию делали. Работать, как раньше, не мог. Вот и пошёл в Переславль в пожарники.

В пожарниках чем хорошо? Сутки дежуришь, а двое свободен. Жене по хозяйству пособишь. А там потихоньку кому поможешь баню срубить, кому заменить венцы иль крышу поправить. Свободные руки в деревне нужны...

Это было тяжёлое лето. Все ждали большой беды. Бабка Авдотья, копаясь в сухой, как зола, земле и видя горошины картофелин, в панике причитала: «Погибель, погибель».

Но, как ни странно, никто не погиб. Те, кто держал скотину, косили по оврагам, по мокрым местам и сразу укладывали в стожки; трава высохла на корню. Стожки понемногу росли.

Куры неслись, коровы доились, правда, удои упали, на поливных огородах созрели овощи — лук и чеснок. Хлеб Маше возили бесперебойно.

Но что удивительнее всего, в совхозе хотя и меньше, чем в предпожарные годы, однако собрали неплохой урожай.

К осени начались дожди, лесные пожары погасили, но ещё долго чадили болота, даже зимой из-под снега шёл синий дымок. В болотах остались глубокие ямы, сгоревшие корни деревьев уже не держали стволов, и они стали падать. Возле домов прибавилось переколотых и аккуратно сложенных в поленницы дров. На горях зашуршали листвой молодые берёзки, и о пожарах теперь говорили, как о войне, — тяжёлом, но миновавшем бедствии.

## Виктор и Мария

В зиму у Виктора Кукушкина умерла жена. Она была маленькая, подбористая, жадная до работы. Сама управлялась с хозяйством. Сажала огород, заготавливала корма, бегала на базар с яблоками и молоком, пять километров туда, пять обратно — редко кто подвезёт, Словом, занималась всем, кроме пчёл, — это была забота Виктора.

Виктор вернулся с фронта без ног. Я часто видела его сидящим на своей коляске у красного, обитого тёсом дома. Круглолицый, рыхлый, в помятом бумажном пиджаке, он собирал вокруг себя досужих соседей. Они усаживались «на завалинку» — тесовый выступ фундамента — и с интересом слушали его рассказы.

До войны Виктор занимался портняжным делом — был швецом, ходил по округе, знал немало всяких историй, главным образом бытовых, и умел их рассказывать.

Мне запомнился один день, казалось, совсем недавний, а было это чуть ли не три года назад. Я пришла за мёдом и в ожидании Нюры, Викторовой жены, присела на брёвнышке, заинтересовавшись беседой.

Виктор рассказывал мужикам, как после ранения в госпитале ему отрезали ноги.

— Сначала была гангрена. Боли такие, будто взяли меня за руки и за ноги, раскачали и кинули в горящий дом. В самый огонь. Я весь горю, а сердце моё такое, не поддаётся, стучит: «жить, жить, жить!» Всего-то мне двадцать восемь годочков, ещё путём ничего не видел. Сказали, что ампутацию нужно делать. Что ж, думаю, и без ног живут...

Пришла жена, согнувшись под тяжестью накрывшей её охапки сена. Виктор сказал, что утром она косила, днём между делом бегала шевелить. А вот теперь убирает.

— Я ей — оставь, а она боится. Вон туча заходит, неровен час и дождик пойдёт. — Виктор смотрел на небо, где, встав из-за леса, застыла косматая тёмная туча.

Бледный, какой-то весь выцветший, Фёдор Фадеев, вдовый сосед, бросил окурок, старательно растоптал и убеждённо заметил:

— Не будет дождя. Видишь, озеро не пускает.

с. 160

Озеро обладало удивительным свойством. Везде вокруг льёт, гром громыхает, молнии, кажется, вот-вот всё взорвут, а туча дойдёт до Криушкина, уж как гремит, как пугает, и ничего — уползает обратно, только её и видели.

Иной раз всё лето так. Ждут не дождутся дождя, пруды все вычерпают на огороды, а хоть бы капля упала. Но если лето холодное, бывает, зальёт. Нюра, наверное, того и боялась. Совсем недавно обрушились заморозки. В огородах побило огурцы и кусты помидоров, в лесу папоротники. Морозец, похоже, веселился, бежал, приплясывая: где ступил или дунул — там опалило, листва потемнела, повисла тряпицами. А рядом кусты хоть бы что: стоят себе, распушившись.

Нюра хотела закончить работу до сумерек.

— Ты уж, пожалуйста, подожди, коль не к спеху, — попросила она, кладя мою банку в Викторову тележку. — Иль, может, он наложит? — Она кивнула на мужа, Виктор хотел уж поехать, но я остановила.

— Нет, нет, посижу, послушаю. Интересно.

Польщённый вниманием, он остался на месте.

— А ведь она поначалу брать не хотела меня. — Все с любопытством поглядели на Нюру, которая накрывала плёнкой стожок. Виктор её не осуждал, наоборот, стал даже оправдывать. — Конечно, как жили в войну? Работали много, а платить не платили. Жили со своего участка, на голове сидели.

— Ну ты-то не сидел, — откликнулась Нюра и пошла за верёвкой.

— Я не сидел, это верно, — в голосе Виктора прозвучало самодовольство. — И до войны наш дом был — полная чаша. В моих руках всегда все нуждались. И пчёлки таскали исправно. У тещи не помню уж сколько было колод. Свой мёд всегда на столе. А после ранения мне сразу выдали карточку — девять кило муки, горох, чечевица, овёс. Вари себе кашу — это не голова.

Мужики принялись толковать о том, что много в их деревне перемерло детишек от этой проклятой головы. Могилы устали копать. Что в ней — головки от льна, клевер да липовые листья. И взрослый не выдержит, не то что дитя.

Однако о горестном говорить не хотелось. Вернулись к истории Виктора.

— А как же с Нюркой-то обошлось? — напомнил Фёдор.

— А вот как, — оживился Виктор. — Я отписал ей, знай, мол, такое дело. Война искалечила меня, лишила ног, не хочу быть тебе обузой. Сложил письмо своё треугольничком, сестрице отдал, просил отправить. Ответа жду, она молчит. Ну, думаю, значит, конец. Ан нет, захотела повидаться. Сказали, жена, мол, приехала. То всё ничего, храбрился, а тут меня страх одолел, хуже, чем ампутация. Прошу: подождите, не пускайте. Куда там. Она отстраняет всех, идёт ко мне и ну голосить. Мне сразу и полегчало: жалеет. А всё же говорю ей опять: подумай. Она мне: «Уж всякое думала, а знаю теперь одно: какой ты ни будешь — приму». А всё же ведь думала отказаться...

Соседи молча дымили «Севером». Нюра старательно обвязывала стожок, чтобы не унесло ветром плёнку. Во всех движениях её были ловкость, старательность, стожок получился аккуратный и кругленький, похожий на неё самоё.

Она попросила меня ещё подождать и широко, не по росту шагая, пошла за коровой. Вскоре вернулась с ней, сытой и тёплой, сладко пахнущей лугом и парным молоком. Взяв мою банку, скрылась в сенах, я слышала, как хлопнула в горницу дверь, где хранились с мёдом липовые кадушки.

За домом, в саду, стояло больше десятка колод, и пчёлы всё лето исправно и торопливо работали, наполняя соты. Ранней весной они гудели в яблоневых цветах, собирая нектар, потом зацветали липы, и тут начиналось настоящее торжество. Пчёлы снимали с цветов не только их сладость, но и целебную силу, неся её человеку. Белый рассыпчатый липовый мёд в зимнюю пору — лучшее из лекарств от простуды. А зацветут клевера, волнами плавают ароматы, и гул не смолкает от рассвета до ночи. В моём палисаднике разрослась, заглушая всё, стрекучая огуречная трава, медонос. Как они здесь старались, чудесные, неустанные труженицы! Глядя на них, я всегда вспоминала тот день, когда я ходила за мёдом к Кукушкиным. На впечатления того дня стали наслаиваться другие, и потянулась цепочка к одной из историй, надолго занявшей внимание криушан.

Виктор и Нюра жили вдвоём. Хоть дети их выросли и разлетелись по городам, хозяйство они держали большое: помимо пчёл — корова, телёнок, кур два десятка, сад — вишни и яблони, огород — картошки двадцать пять соток. Мало её посадить да выкопать, нужно ещё отвезти в Москву, а значит, договориться с шофёром, берущим с мешка по рублю, да постараться в мешок наложить попокойней — не пятьдесят, а все семьдесят килограммов. Поди потаскай их да погрузи на машину, такие мешки.

Соседки работали сами немало, но, видя усилия Нюры, не раз упрекали:

— И что ты так рвёшься, иль не хватает? Мёдом, поди, одним можно прожить, а сам ведь и пенсию получает.

Нюра отмалчивалась, но только со временем вдруг почувствовала: силы стали катастрофически убывать. «Наверное, годы подошли», — решила она и, убедив себя в этом, не торопилась к врачу.

Когда наконец собралась, он сказал, что надо лечиться. Она поехала, дома попарилась, попила медку, а слабость не проходила, стало хуже. Тогда уж Нюра встревожилась, опять отправилась в Переславль, Врач рассердился, сказал, что нужно ложиться на операцию, не то будет поздно.

Трудно сказать, что больше в то время беспокоило Нюру — болезнь или яблоки, которые не успели продать. Пожалуй, яблоки, ибо в больницу она легла лишь тогда, когда убралась с хозяйством, распродала урожай. И оказалось, что поздно.

с. 161 Умирала Нюра трудно. Она исхудала так, что даже близкие едва узнавали её. Прощаясь с Виктором, она завещала ему жениться на Марье.

И Марье сказала:

— Виктора не отвергай.

Марья хоть успокаивала подругу, но обещания не давала.

Нюру похоронили на кладбище между Переславлем и Троицкой слободой. Мне сообщили об этом ещё до того, как я с наступлением тёплых дней наконец добралась до своего настывшего за зиму деревенского дома.

Всю зиму я нет-нет да и вспоминала о нём, о лесных полянах, о земляничных, грибных местах, об озере, о крутобоких облаках и размытых дымкой твердынях монастырей. Криушане вошли в моё сердце какой-то частью своих судеб, своего существа. Приехав в деревню, убравшись, я пошла на родник, из которого брали воду для чая.

Там встретила крупную, сильную Анну Рыжову. Она, засучив рукава, разувшись, мыла колодец, вычерпав воду и выбросив со дна накопившиеся там тину и водоросли. Я спросила о Викторе, Аннином соседе, как он управляется со своим хозяйством.

— А что с хозяйством: корову продал. Справляется, — неопределённо ответила Анна и, собираясь уходить, бросила: — Жениться надумал.

— И есть невеста?

— А как же! Мария Кукушкина. — И ушла.

Вечером ко мне заглянула сама Мария, мы долго сидели, и она рассказывала о трудной своей судьбе.

Овдовела она с первых дней войны. Как мужа взяли, так он и канул, потом говорили, попал в «мясорубку». Осталась она с сыном и двумя дочерьми. Растила их, работала в колхозе, жила расчётливо, скупно. Света не зажигала дотемна, булки не покупала. Едва сводила концы с концами. Но, как говорят, придёт беда — отвори ворота. Однажды на лесозаготовках её придавило упавшим деревом. Долго болела, отлежалась, но с той поры начала прихрамывать. Правда, это её не портило. Иногда я смотрела, как она несёт с колонки на коромысле вёдра и так аккуратно вышагивает, ставит как по линейке ногу за ногу, будто бы у неё такая походка. И в этой походке, и в аккуратности, в тщательности, с которой старалась работать, было, как я поняла позднее, желание скрыть свои недостатки, боязнь унижения высокомерием и сочувствием.

«Горда, ничего не скажешь», — думалось мне.

На скотном дворе, где Мария работала, её поранила во время дойки корова. Ударила копытом по голове. Опять отлежалась в больнице, пошла работать.

А время бежало, не видела, как выросли дочки. Сын женился, обзавёлся дочуркой, в то время его призвали на службу. Жена на работе, яслей нет. Марья, оставив колхоз, два года нянчила внучку. Они и сказались при начислении пенсии: что делать, был перерыв.

— Обидно мне. Кто получает семьдесят, кто шестьдесят, а я — девятнадцать двадцать. Живу, конечно, не хуже других. Теперь вот пойду работать. Тогда перечислят пенсию, будет побольше...

— А правда, Маша, я слышала, Виктор к тебе посватался? — спросила я.

Она покраснела, замахала руками.

— Что ты, что ты! Тридцать с лишним годов, как мой муж погиб. Чужого с тех пор в моём доме не бывало. Стыдно и говорить... Зачем?..

Но сватовство Виктора вскоре стало предметом разговора криушанок. Когда Мария «начисто» отказала, Виктору стали сватать какую-то княжевскую. Её называли почему-то солдаткой и отзывались о ней, в общем, неодобрительно.

Как-то, ожидая на крыльчке, когда откроется магазин, я стала невольной свидетельницей разговора двух женщин.

— Конечно, кто пойдёт на такое хозяйство. Все наломались, наработались. Но так как она начала командовать... Только пришла, и ну распоряжаться: «Мебель твою всю выкину и свою привезу. Сервант поставлю вот здесь, диван — сюда. Стулья нужно сменить...» Ещё ничего ведь не слажено...

— Да разве Мария не отказала?

— Вот то-то, что нет. Намедни её спросили: «Ну что ж, значит, всё у вас кончено?» Она: «Ничего не кончено», — и отвернулась, пошла, завертела задом. Ему в тот же час донесли.

— А он?

— Что — он? Как только услышал, сразу бумагу схватил, солдатке письмо отписал, что свадьба не состоится.

— А эта опять: «Ничего не знаю».

Женщины, распалаясь, принялись укорять Марию за её вероломство, что, дескать, зря человека мучать. Больно гордится, а чем?..

И неизвестно, до чего бы дошли укоры, если бы не прервала их своим появлением продавщица Маша, которая, отомкнув замок, начала торговать...

---

В начале лета в Криушкине, ещё по старинке, празднуют день Никиты. В церковь давно никто не ходит, и что за Никита, теперь немногие помнят. Но в деревне по-прежнему собирается разбежавшаяся по городам вся родня. В этот день, раз в году, её можно увидеть, теперь городскую поросль, взошедшую на древних, глубоких корнях.

Давно из этих праздников ушла их религиозная, и раньше-то не очень прочная основа, а вот обычай остался. Так собираются однополчане, выпускники одного института, курса, школьники — класса. Этот сбор — родовой.

Как-то я ехала на телеге из деревни Милитино с тамошним жителем Николаем Рядновым. Сам ещё молодой человек, Ряднов рассуждал степенно, как умудрённые опытом люди.

— Октябрьскую, Первое мая, Победу в город едут встречать, а престол — в деревню. Все знают этот день, дальние отпуска подгадывают, если лето, ближние — на машинах. Детишек подбросят: всё государству легче. Помогут старикам поправить избу, убрать огород. А заодно и себе прихватят продукта. Все эти машины-то откуда взялись? Небось на своих-то хлебах не разведешься.

Со временем этот обычай, вероятно, исчезнет, как оборвутся последние корешки и после вызванных революцией катаклизмов наступит стабилизация, родятся устойчивые, созвучные времени обычаи. Пока же в деревнях такого праздника нет. Дни урожая собираются в разные дни и ещё не стали родовым событием — отпуск не подгадаешь.

К Марье приехали обе дочери, их мужья и три совсем уже взрослые внучки с детьми. Мужчины ушли навестить родных. Женщины задержались. Пока все переговорили, осмотрели наряды и, наконец, собрались. Я видела этот торжественный выход. Впереди, слегка переваливаясь, косолапая, как утица, выступала глава семьи... Дородная, гордая тем, что хоть и одна, а вырастила таких красивых, трудолюбивых, почтительных дочерей. Они уважительно держались позади своей матери. За ними шли внучки. Сразу было видно: шла семья, хотя и размётанная, но всё ещё крепкая, где каждый был связан друг с другом не только кровной, но и традиционной связью.

У каждого дома толпились нарядные люди. Деревня была полна, как, вероятно, в те времена, когда в любой из этих нынче слишком просторных изб жило не меньше десятка обитателей, и в основном молодёжь.

Звенели гармошки, девушки в цветастых кримпленовых платьях лихо, с частушками, как говорят здесь, «дробили», притопывая широкими модными каблуками. Бабки выбрались на скамеечки, обсуждая частушечниц и плясуний. В их время не мыслили о таких нарядах, а пели, пожалуй, стройнее, душевнее. Средневозрастные криушанки в длинных шевиотовых жакетах, в платочках уголками, разложенными на спине, шли гулять на Александрову гору — туда, где когда-то гуляли их пращурь и откуда на озеро открывался чудесный вид. Там тоже звучали гармошки и, окружённая зрителями, плясала, соревновалась в частушках молодёжь, не забывшая острого своих деревенских припевок. Однако на этой горе, мне казалось, естественней выглядел бы хоровод, звучали раздольные по простору песни.

Гуляя по бугристой криушанской улице, я вдруг увидела Виктора. Он ехал на своей коляске, был в белоснежной рубашке, оживлённый, помолодевший.

— Ты что же уходишь, а я к тебе в гости еду, — крикнул он весело и задорно.

— Нет, не ко мне... — я помахала ему рукой. Он радостно засмеялся и с молодым нетерпением поехал дальше.

Он ловко перемахнул через канавку, открыл калитку и скрылся в Марьином палисаднике.

Соседки, судачившие на лужайке, следили за Виктором.

— Смотрины устроила, — хмыкнула одна из них и поджала губы. — Теперь с дочерьми начнёт обсуждать.

— А что они, дочери, — перебила другая. — У них свои семьи в городе, мать здесь сама по себе. Заболеет — одна, чему порадоваться — тоже одна. И то уж сказать, хлебнула немало. Да и ему-то как одному?

Внимание женщин привлекла «Волга», важно и медленно проехавшая по дороге.

— Никак Гаврила Голубин вернулся?

— Да что ты, он куда и не уезжал. Не его машина.

— Дом-то какой поставил — хоромы.

— Сам плотник...

Марья и Виктор были забыты... «Волга» заняла всё внимание женщин.

На другой день праздника жара неожиданно сменилась резким похолоданием. Надвинулась чёрная туча. Гуляли теперь по домам. Деревня опять опустела. Лишь парни носились, треща мотоциклами. Сновали «Жигули», «Москвичи», «Запорожцы». На них приехали гости. Окна в домах были закрыты, и лишь по гулу доносившихся изнутри голосов да стройному, слаженному пению можно было догадываться о многолюдье застолий.

Пели и о калине, которая, кстати сказать, цвела в эту пору не «в поле у ручья», а на лесных опушках торжественными белыми тарелками; о дубе с рябиной, которых разъединила злодейка-судьба, жаловались на то, что им, жаждущим в звуках выразить свои чувства, негде «взять такую песню», которая охватит всю глубину человеческих переживаний. Но такая песня всё же звучала. И чаще других. Повествовала она о Хаз-Булате, его молодой жене и разлучнике-князе. Эта песня с гениальной простотой раскрывала закон человеческих отношений — возмездия за неверность, измену. Сейчас уже мало кто знает имя поэта Аммосова, но полтора-два года его творение волнует людские сердца...

Туча, как обычно, только пугала яростью молний, и гром походил на разрывы снарядов, а дождь лишь покапал, и к вечеру гости с хозяевами снова вывалились на лужайки.

Частушки и пляски несколько поутихли и потеряли тот внутренний напор, который присущ им был в начале гулянья. Шли разговоры о хозяйстве, о детях, о городских и деревенских событиях, среди которых опять возникала история Марьи.

— Виктор-то целый день был у неё. Вместе с родными гулял. Теперь, наверное, порешат...

— Да уж скорей бы. А то, как девка, чванится, боится продешевить. В такие-то годы каждый день берегут...

Однако ни в этот день, ни месяц спустя, ни за всё лето ничего в отношениях Виктора и Марьи не разрешилось.

Встретив меня после праздника, когда все разъехались, Марья, вздыхая, толковала:

— Дочери-то толкуют: «Ты, мама, всё для нас жила. Теперь устраивай свою судьбу. Человек хоть скуповатый, но трезвый».

— А разве не так?

— Да всё так-то так, а страшно. Ой, страшно! Опять же хозяйство... — И тут же заносчиво заявляла: — Я ведь сказала ему, что не буду с яблоками на рынок бегать. А он соглашается: «И не нужно. Я, — говорит, — всё буду сам делать. И половину дома тебе отпишу. Будешь жить за мной, как за матерью». Всё старое вспоминал, нашу молодость.

— Ты что-то скрываешь, Маша, — упрекнула я.

— Да что тут скрывать, всем известно: мы вместе росли. Гуляли когда-то с ним. Всё к свадьбе шло, да вот расстроилось...

И, прерывая себя вздохами, восклицаниями, Марья поведала о том, как они ходили гулять на Александрову гору, играли, водили хоровод, сидели на Синем камне у озера, веря в его легендарное могущество. Поссорились будто по пустяку: из-за какой-то дырявой Викторовой шапки, которая якобы не понравилась Марье. Так всё и распалось...

Но дело, пожалуй, было в другом. Младшая Марьяна сестра, голубоглазая, статная Шура, как-то сказала:

— Нас много сестёр росло, нуждались. Деревня наша вообще не из богатых была. А Нюркин дом выделялся пчёлами. Родители Виктора, похоже, обрадовались размолвке, заслали сватов. Мария-то тоже поторопилась замуж. Выскочила шестнадцати лет...

Жизнь молодых людей пошла, потекла по разным дорогам. Каждый был занят своими детьми. О прошлом не вспоминали. И вот теперь...

Ответа Марья Виктору не давала. И всё подсмеивалась сама над собой:

— Невеста! Внучки уж замужем. Людям на смех.

При этом пытливо смотрела в глаза собеседника, старалась увидеть, что думает он. И если уж у кого замечала улыбку, поспешно начинала уверять:

— Я уж привыкла одна. Хозяйка в своём доме. Делаю, что хочу. На печке своей слова никто не скажет.

Она опять начала работать в совхозе, чтобы прибавили пенсию. Ходила на заготовку силоса. По клеверам и зелёнке ползали силосорезки, струйкой текла измельчённая масса в кузова грузовых машин. У скотных дворов закладывали бурты, рычали тракторы, уминая силос, женщины разравнивали его лопатами.

Криушкино было бригадой совхоза «Рассвет». Работы хоть отбавляй, некогда посудачить. Лишь иногда напарница Марии пошутит: «Ну как твой жених-то? Тут слух прошёл, что ты подвенечное платье в Москве заказала».

Марья лишь пожимала плечами.

А Виктор всё маялся, ждал, старался попасться навстречу зазнобе, когда она возвращалась с работы. Но та, стесняясь грязной рабочей одежды, шла мимо, едва поздоровавшись.

Эх, любовь, любовь! Мария, видно, тоже маялась, но очень уж была неприступна. Завистливые языки — а где их нет! — утверждали, что, мол, набивает цену. Мне думалось, это не так. Она действительно боялась потерять всё то, что нажито ею самою за трудные, полные отречения годы. Она обрела устойчивость, твёрдость, которыми дорожила. А ну как не сложится с Виктором, что тогда? Срамота...

Была, конечно, и доля кокетства, пусть запоздалого, но не угасшего в её женской душе. Она помолодела, в ней появилась девичья лёгкость, радость, украденная войной, не находившая в жизни взаимного отклика.

— Зачем теперь замуж, и так живём рядом, — отнекивалась она. И тут же с каким-то удивлением, тихо, чтобы не высмеяли завистники, шептала:

— Он говорит: «Ведь мне ничего от тебя не надо, будь только рядом и ручку позволь иногда поцеловать». — И усмеялась, показывая свою трудовую загорелую руку. — Ручку!..

В начале осени я узнала в Москве, что Марья «окончательно отказала Виктору».

На сцене опять появилась «солдатка», и снова с ней дело не сладилось. Теперь уже Виктора укоряли. Смutil, обнадёжил женщину, чего уж тянуть?

— Конечно, человек она неплохой, да жизни у нас с ней, я чую, не будет. С годами человек измеряется сердцем. Это смолodu можно привыкнуть друг к другу. Она всё своё прожила, я — тоже не мальчик. А с Машей у нас было прошлое. Есть на что опереться... — рассуждал он.

Возможно, в конце концов Виктор с «солдаткой» и поладил бы. Может быть, привыкли бы друг к другу. Да тут случилось несчастье, которое всё повернуло по-своему.

Копаясь в огороде, Виктор поранил руку. Не обратил внимания, засорил. Рука начала краснеть и пухнуть. Антонов огонь побежал по жилам. Когда его привезли в больницу, молодой переславльский хирург посмотрел, покачал головой, осторожно заметил:

— А что, если руку придётся отнять?

— Тогда уж и голову заодно отрезайте! — крикнул Виктор в отчаянье.

— Ну-ну, успокойтесь. Будем бороться. Но вы-то знайте, с этим не шутят.

Хирург ещё раз внимательно осмотрел больного, сделал уколы, анализы и начал лечить. Он боролся за жизнь человека, потерявшего ноги на фронте. Оперировал, лечил, зашивал, вскрывал, выскабливал и снова лечил заражение. Он сделал восемь надрезов на кисти, у локтя, подбадривая, шутя, успокаивая больного. Только тогда, когда понемногу болезнь начала отступать, хирург признался, насколько у Виктора всё было серьёзно.

В больницу к Виктору приходили родные, знакомые, а Мария ни разу, хотя он больше всех ждал её.

Но, видно, маялась и она, похудела, была озабочена и нервозна, что было совсем не в её характере.

И вот, когда уж выпал снежок, в декабре, я выбралась навестить дорогое Криушкино. Ехала по знакомой дороге, с любовью смотрела на белые шапки домов, на снег, лежащий на елях подушками. Вертя хвостами, летали сороки, дышалось легко и бодро, как бывает в начале зимы, при лёгком морозце.

Узкая, едва протоптанная стёжка вела на знакомую гору. Снег под ногами хрустел, был ослепительно белым, а в ямках, у бугорков, за сугробами лежали глубокие тени, такие синие, что даже темнело в глазах.

Дома я долго топила печку, пока с теплом не пришли уют, покой и полное расслабление — отдых. А вскоре и новости. Я выглянула в окно и весело засмеялась, увидев конец истории.

Из Марьиного дома выбралась какая-то неуклюжая женщина в валенках, в тёплой жакетке, повязанная пёстрым платком. В руках она несла две большие корзины и, переваливаясь, направилась к дому Виктора.

Мария перетаскивала своё добро, уходила из дома.

Произошло это так. Виктор вышел из больницы поздоровевший, весёлый, с чувством одержанной им победы. Он приехал к Марии, сказал ей решительно: «Ну вот что, Маша, давай решать».

Ей, вероятно, и нужен был этот толчок. Она наклонила голову, чтобы не выдать смущения, и тихо произнесла: «Ну что ж, распишемся...»

Они отправились в ЗАГС, заявили о браке. Всё время до свадьбы Виктор провёл в заботах. Купил кольцо, шерстяное платье, новую полированную кровать для Марии, кое-что из белья.

Весь месяц они, как положено, «гуляли», привыкали друг к другу. Невеста приходила к жениху, они садились за стол, играли в лото, в домино. Когда на стенных часах подходило к одиннадцати, Мария вставала и уходила домой.

— Дождь, ветер на улице. Я ей — останься. Она — ни-ни. Что это за закалка такая? Скажет лишь: «Хочь бери, хочь не бери», — рассказывал Виктор, радуясь, когда я зашла их поздравить. Он так и сиял, он был благодарен ей за то, что она подарила ему этот праздник мучительного, но счастливого ожидания.

Она соблюла сохранившуюся в её памяти предсвадебную церемонию и закрепила тем его чувства.

Марья держалась чопорно, боялась себя уронить, а может, стеснялась. Но когда мы сидели за столом, тайком показала кольцо, шепнула: «Шестьдесят восемь отдал».

В «зале» она открыла шкаф, там висели обновы, и среди них зелёное шерстяное платье в цветах — подарок Виктора. И в том, как она оправила одеяло на новой своей кровати, как взбила подушку на Викторовой постели, сквозила какая-то растерянность, ошеломлённость, боязнь: вдруг сделает что не так, как положено «молодой» в её возрасте.

Расписывать их приехали Тоня Зубкова, она теперь председатель сельсовета, и сдавший ей дела Иван Андреевич Макаров. В доме Виктора собралась вся родня. Дарили подарки новобрачным. Гуляли в двух комнатах. Плясали «без умыку» под две гармошки.

— Мы сделали всё по жизни, нам доживать теперь нужно по-человечески, — сказал мне Виктор, прощаясь. Он гордился тем, что смог проявить свою душу и доказать, что человек действительно «измеряется сердцем».

И было радостно смотреть на счастье Марии и Виктора. И всё же немного грустно оттого, что пришло оно к ним так поздно. Очень уж оно трудное, это позднее счастье.

## Бригадиры

Весна в том году была ранняя. Снега растопило ещё в конце марта, и они ушли в озеро. О бурной игре потоков можно было только догадываться по глубоким, рваным рывтинам, избороздившим дорогу, взбегавшую на гору.

Возле подъёма я свернула с дороги и направилась к озеру. Здесь всё ещё держалась зима. Вдоль берега лежали высокие сияющие сугробы — сюда сметало всю зиму. Сейчас эти снежные буруны издавали стеклянный шорох, рассыпаясь под действием вешних лучей, и от них потягивало огуречной свежестью. Зеленоватый, взъерошенный лёд за ними был в полыньях, и казалось, из них, дрожа, поднимается хрустально-прозрачная вода. Она заливает пространство над озером, затопляет Переславль на том берегу, размывая контуры древних монастырей. Это струился нагретый весенний воздух, и его радостное движение отдавалось волнением в сердце.

На крутояре, покрытом кустами орешника, шла та же торопливая работа весны. Кусты меняли серовато-уньюлое зимнее одеяние, над ними стояло прозрачное зеленовато-коричневое облако. Длинные, лёгкие серёжки, нежась, повисли на тонких помолодевших ветвях.

Я стояла, вбирая в себя эти краски ранней весны. Вербы ещё не распустились, но уже жили, играли красноватыми тенями. Ветви раkitника подёрнулись желтоватой зеленью. По земле стлалась пожухлая, бесплотная трава, но где-то под ней уже теплилась жизнь и пробивалась

иголками тонкой нежной травки, зубчатыми, ещё свёрнутыми листьями и мягкими серебряными стеблями сон-травы.

Даже сам запах влажной, нагретой земли будил ощущение возникающей жизни.

Ещё два года назад дубки и орешник на склоне росли густым заслоном. Полчища туристов, ночующих у костров, старательно вырубали их на рогатины или для обогрева. Склон угрожающе облысел, но всё же ещё был хорош, придавая окрестности своеобразную живописность.

Я слушала шорох сугробов — он заглушал все другие звуки, а когда собралась уходить, вдруг уловила слухом новый звук, похожий на тихий предостерегающий посвист. Он зародился где-то вдали, пронёсся над озером и словно растаял. Но всё вокруг напряглось, выжидательно замерло. А звук повторился, но уже более внятный. Он молодецки прошёлся поверху и сразу рухнул воздушной волной, разрушив весь нежный настрой весны. Это был ветер. Он озорно метнулся к кустам, сбил с серёжек золотую пыльцу, покрутил над кустами и, словно соскучившись, вернулся к озеру, на простор, окрепший и самовластный. Он заглушил стеклянный шорох сугробов, сбил чаек, паривших в синеве. Они пронзительно закричали и, падая на крыло, понеслись укрываться к берегу.

Ветер крепчал, набирая силу. Он шёл, тугой, напористый, слоями, и все они издавали свой звук. Вверху он мощно и трубно гудел в силу своих богатырских лёгких. На горе, куда я теперь поднималась, со свистом и гиканьем гнул кусты. Коричневые серёжки орешника обречённо вытягивались, однако держались на тонких, блестящих от напряжения ветках.

Едва я ступила на бугристую, исполосованную в распутицу деревенскую улицу, как что-то тёмное налетело на меня, небожно ударило и упало на землю. На дороге, закутанная в платок, стояла тётка Антонина Миронова, с тревогой глядя на крышу своего скособочившегося дома. Ветер, словно зубами, сдирал с него серебристую дранку и злобно выплёвывал на дорогу.

— Ты смотри-ка, что делает! — простонала она. — Того и гляди всю крышу раскроет.

Четыре года назад, когда я впервые приехала в Криушкино, все дома здесь стояли под дранкой, похожей на рыбу чешую. Нынче их подвели под шифер. Но и серые ребристые пластины его поддрагивали перед силой стихии, вызывая беспокойство криушкинских обитателей. Они выходили на дорогу, опасливо поглядывая на крыши, качали головами, переговаривались и, подгоняемые тугой силой ветра, спешили домой.

Ветер дул и дул, не ослабляя напора. В трубе моей избы гудело, стонало, било в заслонки. Хлопала оторванная от карниза доска. Я хотела её закрепить, но ветер упёрся в дощатую дверь, не пускал, дразня, посвистывал, пробиваясь в щели. Одним из особенно яростных порывов доску сорвало совсем. Качаясь, она пронеслась над палисадником, и ветер бросил её в забор.

Под его напором рябина, выросшая рядом с домом на сгнившем пне, накренилась, но устояла, и голый её силуэт темнел на гаснущей зорьке уходящего дня.

К утру напор ветра стал ослабевать, а вскоре совсем упал. Лишь время от времени налетали порывы, словно стремились догнать умчавшийся фронт. День занимался ясный, воздух был свеж и полон посеянных ветром запахов старых листьев, травы и горьковатых, набухших почек черёмухи. А землю всю начисто вымело, подсушило, будто кто-то могучий прошёлся по ней своей гигантской метлой.

На завалинку своего высокого дома вышел Алексей Сергеевич Бородулин и сидел, поглядывая по сторонам, прикидывая, что натворил в Криушкине ветер.

Бородулин отвоевался за два года до начала войны. Во время действительной службы в частях Красной Армии на Дальнем Востоке его тяжело ранило осколком гранаты, брошенной диверсантом. Домой он вернулся с «белым билетом» и стал бригадиром в колхозе «15 лет РККА».

Когда война начала от притихших от жути российских селений мести подчистую мужиков, лошадей, а потом аккуратно выкашивать довоенную поросль, опустела деревня Криушкино. Бородулина избрали заместителем председателя в колхозе, где главной тягловой силой были женщины, старики да подростки. Мне так и видится Алексей Сергеевич — ушедший на пенсию больной человек — сидящим у дома, двумя руками опираясь на палку. Он по-хозяйски поглядывает по сторонам. Дом его с вырезами, узорчатыми наличниками — высокий, просторный — стоит посреди деревни, почти вся улица на виду, в поле зрения бригадира. К нему по старой привычке шли за советом и делом. И сам он не отстранялся от дел. В трудную для совхоза минуту брался за вожжи и ехал в поля, подсказывал, помогал в меру своих поубывших возможностей.

Я тоже всегда шла к нему со своей нуждой, и не было случая, чтобы когда отказал, если мог, конечно, помочь.

Присев вот так на дощатой завалинке, мы толковали о войне. Нахмурившись, потемнев лицом, он рассказывал, как Анна Шальнова, Татьяна Кукушкина, Мария Боченкова, Марфуня Фадеева, Матрёна Фадеева, Мария Барыбина — да разве всех перечислишь? — нередко, бывало, брались за плуг. Наталья Кукушкина только недавно на пенсию вышла. Поди, до семидесяти пяти годов крепка была, в совхозе работала, метала стога. Он называл по именам многих других теперешних пенсионеров, на которых в войну держался колхоз. И хоть по характеру Бородулин был сдержан, немногословен, а скрыть тепла к ним не мог.

— Хорошая, работающая деревня Криушкино. На весь колхоз оставалась дюжина лошадей да четыре быка. Это потом дали трактор. А посадить кого за баранку? Опять же женщин.

Сеяли тогда рожь, пшеницу, овёс. Лес рубили для фронта. Десять—пятнадцать колхозниц по сменам жили в лесу, валили деревья, не хуже мужчин работали, даже старательней. А кроме того, косили, жали, порой и серпами, сажали и рыли картошку, ухаживали за скотиной, не только своей, но и пригнанной со Смоленщины. Поставки все выполняли в срок да ещё помогали соседям. А как работали! С детьми выходили на поле. Прежде колхозное сделают, потом уж своё. Урвут часок пополоть огород, картошку окучить и снова бегут на колхозное поле.

Мне как-то попалась колхозная ведомость последнего военного года. Расписки оплаты за трудодень. Муки по семьдесят пять граммов, картофеля по пятьсот, озимой ржи по сто пятьдесят, по двести граммов капусты — это считалось неплохо по военному времени при средней выработке двести с небольшим трудодней.

Эх! Да что там говорить, в иной избе едоков десяток, а работников полтора или два. А буханка хлеба на рынке стоила триста рублей. Его-то как раз и не хватало. Те, кто держал коров, меняли на молоко. Шесть кринок — буханка хлеба. Поди раздели на ребят, их за столом усядется самое малое — трое.

А что ни день — похорожки. Авдотья Ширшикова до сих пор на голос кричит, как вынет спрятанное в комодке письмо. Сыночек писал перед последним боем. Знал, что не выйдет живой. «Дорогие родители, позабудьте меня, будто я у вас никогда и не был...» Хоть так хотел страдания близким смягчить. Да разве забудет мать родное дитя?

Зайди в любой из домов, посмотри на тех, кто остался на поле боя: две-три увеличенные фотографии в рамках — все молодые, красивые, с открытыми честными лицами.

Нынче идёшь по деревне, и что ни дом, то звёздочка на фасаде — вроде как памятник тем, кто погиб.

Но даже не те, военные, годы вспоминал Бородулин как самые трудные, а сорок седьмой. Голод, неурожай, Весной как пошли дожди, так и стегали до самой осени без передыху. Всё сгнило: и сено, и хлеб, и овощи. Совсем нарушилась жизнь.

И это вынесли, не сломались. После уж побегли...

Когда Бородулин вот так сидел на скамейке, поглядывая вокруг своими умными, всё видящими глазами, не сразу можно было определить его возраст. И даже не потому, что на тонком, точёном его лице не было видно морщин. Сила в нём чувствовалась, властность. Он оставался центром деревенской жизни. Вокруг него всегда вилась молодёжь, мужики. Ведь что-то тянуло к нему. То сядут в кости играть на дощечке, то просто толкуют о делах — никто их не знал лучше, чем бригадир. С ним, с его мнением считался сам Ширенков Анатолий Сергеевич, директор совхоза. Не раз, заглянув к бригадиру, я слышала, как он говорил с ним по телефону или давал кому-то советы, командовал:

— Давайте с утра машины, косить начнём на бугре. И вот что, нужны детали, подшипник и вал вентилятора...

Жена Бородулина — Татьяна Дмитриевна — работает бригадиром криушкинского хозяйства.

— У мужа приняли? — спросила я как-то.

— Сама четвёртый десяток как в этой должности пребываю. С войны. Мы с ним познакомились на совещании бригадиров. Давно это было...

Встретившись на совещании бригадиров в районе, два года гуляли.

— Время-то было какое, чай, знаете, — вспоминала Татьяна. — День крутишься без передыху, а к ночи часок урвёшь, бежишь на свидание. Жили в разных местах, уж как ждёшь, бывало, этого часочка, а встретимся, только и разговоров, как провели покос да приготовились к уборке. А тут сообщили нам, что из Смоленска скот гонят племенной, просили принять. Мы и собрания проводили и объясняли, как нужно беречь племенных коров. Люди наши отзывчивы. Приняли скот, как свой. Детишки малые и те заготовливали корма... Уж как ни трудно

было самим, а скот сберегли. Домой проводили без единой потери. Людям-то нашим в пояс кланяться надо...

Так в жизни случается иногда: я видела, как по военным смоленским дорогам угоняли в тыл племенные стада — это народное достояние, созданное смолянами в советские годы. Горели деревни. В небе гудели тяжёлые «юнкерсы». Двигались в пыльном облаке по дорогам ревушие в страхе стада. Вот они где переждали опасность.

— Свадьбу справляли, когда война повернула обратно. В сорок четвёртом году.

С тех пор и жили... Два бригадира. Работали. Вырастили двух детишек: сын Витя в Переславле работает, квартиру дали, а Нина — на «скорой помощи» медсестра.

— Он в шестьдесят девятом году заболел. Поехал к врачу, тот посмотрел, покачал головой, сразу его на комиссию. Без всякого дали вторую группу. Ноги болели. Не старый, а, видели, с палочкой не расставался. А всё помогал. Как не поможешь. Тут вся его жизнь. Чего ни коснись, во всё его силушки вложены, себя не жалел. Два раза был при смерти. Забота, поди, и спасала...

Он курсы кончал до войны. Работал бы на машине. К технике был привержен. Нынче вон её сколько, а людей в бригаде на всё и про всё двенадцать работников. Скучное положение...

— А велики ли угодья в бригаде?

— Немалые, раньше целый колхоз столько сеял. Сто с лишним дворов. На каждом самое малое — два работника. Вон сколько рук-то было! Теперь машины всё успевают сделать. Большое пришло облегчение. А всё же надо бы больше людей. На семьдесят дойных коров всего-то четыре доярки. Да новое помещение строим, тёлки как раз подойдут. Больше полутора сотен. Электродойку введём, руками с таким поголовьем не справишься. — И начала хвалить доярок: такие старательные, трудолюбивые, дружные. Директор, Анатолий Сергеевич, так и зовёт их — квартет.

Татьяна Дмитриевна сказала и о телятницах: «Как бы не их старание, не справиться ни-почём. Бессменные, отдыха не берут, боятся упустить своё стадо. Животные чуткие, на новых сейчас реагируют».

Одну из телятниц я знала, мою соседку. Затемно она уходила на ферму и пропадала там целый день. Муж её, работающий, отзывчивый человек, совхозный шофёр, тоже все дни проводил в работе. Единственный их сынок, Борис Борисыч, золотоволосый, шустрый подросток, лихо носился по деревне на велосипеде. Товарищи его жили в другом краю. В нашем на полтора десятка домов он был единственный молодой человек.

На ферме первенство по совхозу много лет держала Ширшикова Александра Владимировна. Только недавно она уступила своей тёзке Кукушкиной и воспринимала это как потерю совхоза: много коров гуляло. Семья плохая, отсюда и яловость. Совхозу убыток, а кто виноват?

Созданный десять лет назад совхоз не числится в сильных, но и не отстаёт. В два с лишним раза выросли урожаи. Даже в тяжёлый, засушливый год, когда по округе горели леса, с совхозных полей был собран, по старым оценкам, совсем неплохой урожай. А жизнь всё богаче, богаче. Одна беда — не хватает людей. И кто бы подумать мог, что в русской деревне не станет людей!

Выросли города, сегодня туда перемещаются центры экономической жизни. Близость Переславля сказалась и на занятиях криушан. Многие ездят работать на фабрики, на химзавод, в разные учреждения, где круглосуточные дежурства с последующими двумя выходными. И потому в совхозе такое «скудное» положение, как говорила Татьяна Бородулина.

Недавно она схоронила мужа, не вынес он тяжёлой болезни. И теперь никто не выходит на завалинку строгим глазом приглядеть за порядком, поиграть с молодёжью в домино, потолковать о хозяйстве и рассказать о том, как жили в войну.

Татьяна же по-прежнему работает бригадиром, будучи крепко связанной с сельским хозяйством.

## Легенда о Синем камне

Эта легенда бытует много столетий. В ту пору, когда близ Плещеева озера жили язычники племени меря, они поклонялись гигантскому сизо-синему камню, оставленному на склоне восточного берега растаявшим ледником.

Эта глыба, легко лежащая на земле, как на блюде, пленила поэтическую фантазию меря, и Синий камень стал божеством. Они ему приносили жертвы. Вера их так была глубока, что

славяне, пришедшие в эти места в начале VIII века, тоже в те давние времена язычники, стали чтить Синий камень наряду со своим Ярилой — всеильным и жизнерадостным богом солнца, капище которого было на высоком холме. В начале нашей эры там, полагают, было селение меря, ныне холм называется Александровой горкой, и камень лежит близ неё.

Из поколения в поколение передавалась легенда о том, что в Синем камне живёт божество, доброе и доступное. Оно за совсем небольшую мзду, которая часто выражается лишь в искренней вере, одаривает своей силой всех тех, кто её растерял в мирских уладах, стоит лишь пошептать ему о сокровенной беде и отколоть небольшой кусочек. Можно было его жевать или просто носить при себе как ладанку. Видимо, это помогало кому-то. Шли годы, века, всё скрывалось в земле, менялась вера, крестилась Русь, а камень легко лежал на поверхности, такой же огромный и сизо-синий. Легенда тоже не умирала, паломничество не уменьшалось. С возникновением городов, а с ними монастырей соперничество стало всё больше и больше тревожить монахов. Что это за чудище такое отвлекает людей? «Демон мечты», бесовское наваждение, одна срамота. И просят-то ведь о чём!..

Известный историк-краевед Сергей Дмитриевич Васильев привёл в своих очерках об окрестностях Переславля-Залесского письма православных священников, встревоженных тем, что «демон мечты» привлекает к себе из Переславля людей, мужей и жён, их детей. Думали, что со временем вера забудется, но Синий камень оказался упорным соперником. И пять веков спустя после введения христианства переславские люди «служажу ему и к нему стекахуся из года в год и творя ему почеть».<sup>1</sup>

Каждое поколение увековечивает себя деяниями, согласными с его представлениями о жизненустройстве. Монахи, с ненавистью взиравшие на тяжёлую глыбу, додумались наконец уничтожить соперника, скрыв его от людей. Рядом с камнем вырыли яму, поднатужились и столкнули в неё четырёхтонную глыбу.

Дули ветры над озером, бушевали грозы, лили дожди. Радовались монахи, что победили «демона». А Синий камень тем временем пробирался к свету. Однажды, придя на склон горы, люди заметили, что он снова выглянул из земли. И стал вылезать всё больше и больше, и вот уже он лежит во всей своей первоизданной мощи...

Мы часто ходили к Синему камню. Он поседел, потерял синеву. Но и сейчас в нём было что-то таинственное и вечное, вызывавшее отблески суеверного чувства. Ведь не случайно же почти два тысячелетия поклонялись люди этому феномену природы. Он стал поистине памятником истории, не только творением природы, свидетелем проявления её жизненных сил.

— Но как же он сюда попал-то, на этот северный берег? Ведь он лежал вон там. — Стоя однажды у Александровой горки с криушкинским старожилом, я показала на восток.

— Вот то-то и оно, — ответил Сергей Андреевич. — Его потопили в озере на самой серёдке, а он вылез. Полз по дну и прибился к нам.

— Камень вылез?..

— То-то и есть... — Сергей загадочно ухмыльнулся. — Монахи, вишь, наконец надумали совсем убрать его с глаз долой. Взвалили на сани, по льду повезли. Церковь в то время на Трубе строилась, а камень решили употребить в фундамент.

И повезли через озеро. А лёд трещит, не выдержал тяжести, проломился, и камня не стало. Сколько годов прошло. Новые люди уже народились, эти про камень даже не слышали. А старики толковать перестали. Только глядь, а он снова лезет на берег. Вот ведь какой упорный! Посмотрели люди: наш, говорят. А он всё лезет и лезет. Теперь уж высунулся совсем. Так и попал на нашу сторону. Видела, как он лежит? Вроде на гору забраться хотел, да сил не хватило. А может, раздумал. Тут-то ему спокойней. Нечего лезть на глаза, ещё скovyрнут...

Как-то весенним днём я, прихватив Серёжу и Юлю, пошла прогуляться. Кусты орешника и дубочки на склоне покрылись весёлой зелёной листвой. Свистели скворцы ямским своим посвистом, и озеро тихо лежало, огромное, гладкое, грелось в лучах весеннего солнышка.

Мы отыскали едва приметный на зелёной равнине берега бугорок. Синий камень лежал за ним, близ воды. Обколотый почитателями скорее из любопытства, ибо в наши дни мало кто верит в возможность чудес, он был слегка приподнят с краю, будто сделал шаг на гору и застыл в нерешительности. И это его положение вызывало догадку, что ещё не закончилось путешествие Синего камня-бродяги. Откуда принесли его ледники, и он обосновался здесь, пленённый красотой окрестных просторов? Томила неясность, как он всё же выплыл из озера

<sup>1</sup>Шапошникова серьёзно искажает историю Синего камня, ей нельзя доверять. — *Ред.*

и улёгся на зыбком, илистом берегу? Как столько тысячелетий вообще он держится на поверхности? Исчезли селения племени меря, перенесён городок Клещин, рухнули стены хором Александровых, ушли под землю брёвна избы, обнаруженные актёром Васильевым в деревне Криушкине, а тяжёлая глыба всё лежит на поверхности, словно на блюде. Она даже вылезла из озера, чтобы видеть земную красу.

Позже мне рассказали о том, что учёные-краеведы так объяснили это явление: южные ветры, дующие над озером, в весеннюю пору гонят ледяные торосы. Они постепенно двигали камень и вытолкнули его на берег, здесь и оставили за бугром...

Сидя на нём, тёплом, нагретом горячим солнцем, мы собирали осколочки камня, напоминавшие выставленные в Переславльском музее скребки наших древних предков. Дети, не знавшие легенды, видели в камне только гигантскую глыбу. А он-то взял да и отомстил за неверие.

На чистом безоблачном небе вдруг появилась косматая тучка. Она заслонила солнце, грозно рыкнула и принялась нас нахлестывать прутьями дождика, весёлого, озорного, так, чтобы прочувствовать, напомнить о том, что не всё в природе покорилось могуществу человека, что тот, кто непочтителен с матерью, бывает наказан. Камень помолодел, воспрянул, стал синим-синим.

Мы побежали к соседней дубраве. Я на бегу оглянулась, и мне показалось, что камень, лукаво поблёскивая круглым языческим ликом, подмигивает, смеётся над нашим неверием, прощая кичливое заблуждение.

Он был не злой, наш сосед — Синий камень. Он только напомнил. О том ли, что, пока живёт на земле человек, всё ещё можно исправить. И что без поэзии ему так же нельзя, как и без света...

Тучка помчалась, умыв луговину, и всё заискрилось, засверкало. Откуда-то прилетел желтокрылый скворец. Усевшись на ветке, он начал чиститься, раскидывать веером крылья, встряхивать хвостиком, взъерошивать перья. И, когда умылся, стал чист, засверкал, переливаясь, играя своим оперением, закликал, запел, восхваляя Ярилу-солнце, весну и Синий камень-бродягу, лежащий у озера, лукавое, древнее, мудрое божество.

Как хорошо, что и в наши дни всё ещё существуют легенды.

## Надёжкина тоска

Дышит весенняя оттаявшая земля. Солнце нагрело её, но ещё не высушило, и от влажных пластов поднимается лёгкий, душистый парок.

Надёжка задумалась, опёрлась о лопату. Её круглое, покрытое испариной лицо блестит на солнце. Волосы выбились из-под яркого праздничного платка. А в глазах затаилась тоска.

Поднявшись от родника на крутую гору, прямо к Надёжкину дому, я остановилась передохнуть. Поставила ведро, солнце засмеялось, запрыгало в родниковой воде, прогнало Надёжкину тоску. Она улыбнулась, здороваясь.

— Ну как вы тут перезимовали? — Мы с ней не виделись с прошлого года.

— Ох, и не говори! — Надёжка махнула рукой, будто прогоняла само воспоминание о зиме. — В нашем конце мы только вдвоём и жили. Вечер тянется, тянется, — она пригорюнилась, — не с кем и посумерничать. А уж тишина! Будто вымерли все. Думала, не дождусь тепла. Так соскучилась по земле.

И с любовью смотрела на поднятые пласты, а во взгляде опять пробивалась тоска, какая-то даже потерянность.

Мне была глубоко симпатична эта молодая круглолицая женщина. Что-то в ней постоянно билось живое, угадывались богатые душевные залежи, не нашедшие внешнего своего выражения. За что бы ни бралась Надёжка, всё у неё получалось стихийно и даже буйно, с надрывом.

— Опять вспоминаешь мать? — спросила я.

Она не ответила, лишь кивнула, и по тому, как поджала губы, мне показалось, что вот-вот заголосит.

Мать Надёжки, Степанида Андреевна, умерла два года назад в возрасте восьмидесяти пяти лет. Я ещё застала её, мудрую, величаво-спокойную женщину, запомнила разговоры на крыльце. Она сокрушалась об одном криушанине, который запил в пятидесятых годах и до сих пор не может остановиться. Степанида так тяжело вздыхала, что у меня начинало щемить внутри. Я знала этого ещё не старого мастеровитого человека. В короткие дни просветления он брался за дело, и всё буквально горело, сверкало в его руках.

— Хуже, чем война, эта водка, — говорила Степанида. — И что это за горе навалилось. Деревня наша всегда была трезвая. Люди здоровые, работающие. Мужики больше плотничали, в лесах работали. А уж бабы-то! И ловки и нравом обходительны. — Она поджимала губы, совсем как сейчас Надёжка. Очень она была похожа на мать!

Как-то летом Степанида обмолвилась, что время её подходит, и так выразительно посмотрела на озеро, будто хотела его унести с собой.

— Вон там запевали перед играми, — она кивнула на луговину. — Как помню себя, возле взрослых девок вертелась, а потом и сама поднялась.

Когда это было? В прошлом веке!.. В другой эпохе. Другая жизнь. Трудно тем, кто не может связать концы этих совершенно разных эпох. Старое не удержишь — ушло. А к новому не приросли. И как вспоминать, так о старом.

с. 169 Сбиваясь и поправляя себя, Степанида наговорила запевку к весенним девичьим играм.

Выходили красны девицы из ворот,  
Выносили соловья на белых руках.  
Уж ты пой-ка, распевай, мой соловей,  
При печали весели своих гостей.  
Красные девицы воспели,  
А молодухи всплакнули.

Умерла Степанида поздней осенью. В памяти остался ясный, застекленевший от свежести день. Лес облетел, озеро обрело синевато-металлический блеск, и облака над ним, окрашенные лучами холодного солнца, бросали в воду яркие блики. Переславль на том берегу, через пятикилометровое пространство воды, просматривался как на раскрытой ладони.

Я пришла к Бычковым, чтобы ехать с ними в Москву. Мы уже собрались уходить, в это время кто-то торопливо вбежал на крыльцо, дёрнул дверь. На пороге, как безумная, остановилась Надёжка.

— Женя, — она обращалась к Бычковой, — нет ли у вас лимонаду? Маманя попросила... Ой, что делать! — и заплакала потерянно и потрясённо.

Это была последняя просьба Степаниды Кукушкиной. Как рассказывала после Надёжка, сначала свет от матери ушёл. Выкатился слезой. Всё внучку искала: «Где Танька-то?» Таня стояла рядом и обнимала ослепшую бабу.

Чтобы отогнать вызванные мною же печальные мысли Надёжки, я спросила про сад.

Виктор с Надёжкой жили едва не на самом красивом месте. Их дом, высокий, нарядный, глядел фасадом на озеро. От дома к оврагу, где надрывались соловьи, шла тропка. Весной в овраге торжественно зацветали черёмуха и калина. Потом попевали орехи. Усадьба Кукушкиных была образцовой. Они любили её какой-то неукротимой, исконной любовью, пеклись о каждой полоске земли, по-старинному всё норovia прихватить хоть малый клочок, хотя в деревне землю почти никто уже не берёт. Было полно заросших бурьяном, удобренных пустырей. И от своих когда-то лелеянных, перетёртых руками участков нет-нет да и стали отказываться.

Помню, однажды сказала Мария Кукушкина: «Пусть эту землю всю заберут, только прибавят пенсию...»

В саду у Виктора и Надёжки росли отборные вишни, сливы, крыжовник. Яблони лучших сортов были подрезаны, стволы выбелены извёсткой. К осени, когда созревали красные и золотистые наливные плоды, под ветвями появлялись подпорки, помогавшие яблоням нести их обильный урожай.

А огород! — картошка у них попевала раньше, чем у соседей. Они её поливали, таскали вёдрами воду. Гряды с луком и чесноком были ровные, как на картинке.

В этот год по земле проскакал поздний заморозок и кое-где побил уже укрепившиеся всходы.

— Ох, сад! — Надёжка посмотрела на деревья, — так хорошо цвело. Мы полили их. По тридцать вёдер на каждое дерево.

— Тоже таскали руками?

— Да нет. Я в городе уговорила водителя на цистерне. Он после работы приехал и полил.

Надёжка работала администратором в переславской гостинице. Дежурила через двое суток на третьи, всё свободное время отдавая хозяйству.

— Тут рано утром встала, смотрю, трава побелела, ну, думаю, всё пропало. Хожу, гляжу — гибнет сад. Картошка-то скороспелка за домом, мороз её не достал. А яблони — самый налив.

Опрыскали их от тли. Наверное, пропадёт урожай. Работаю, как впустую. А всё равно не могу без дела. И доктора не велели тяжёлого делать.

— Что такое?

— Говорят, инвалидка. Уж меня на стуле крутили, стучали по пяткам молотком. Поставят, а меня из стороны в сторону так и мотает. «На инвалидность иди», — говорят. А на что она мне, инвалидность, нужна? Не хочу с этих лет. Не буду. Я в отпуск поехала, было хуже, а вот покопаю, вроде бы и полегчает.

— Любишь работать? — Мне было жаль эту женщину, которую словно обидели тем, что предложили побольше лежать и поменьше делать.

— Ну да! — воскликнула Надёжка. И столько искренности было в этом возгласе, столько страстности и упрёка в глазах, как это я не могу догадаться, что нужно ей, чтобы почувствовать себя полноценным человеком.

Я, кажется, догадывалась, какая страсть гложет эту сильную и богатую внутренне женщину. Силы её не по делам. Ей бы размахнуться не на своих двадцати пяти сотках и не в каморке гостиничного администратора. Да так уж сложилась жизнь, и прошлое крепко держит.

Приняв от матери и сохранив патриархальную преданность и любовь к земле-кормилице, она чувствовала душой, что прежние её чувства приходят в противоречие с современной жизнью. Пока жива была Степанида, держалось на ней. На её законах. А что теперь?

— Никого не осталось в доме, кроме нас с Виктором. Дочки учатся в городах. Делаешь-делаешь, а что толку-то? Зачем всё это? Кому?

Она пригорюнилась, запечалилась и, утерев лоб, снова взялась за свою лопату.

## Черёмуха-рябина

Андрей Николаевич Ряднов невысок и худ. Его узкое, заросшее светлой щетиной лицо в нижней части сдвинуто в сторону, отчего крупный, мясистый нос обретает внушительную самостоятельность. Маленький аккуратный рот таит постоянно ускользящую усмешку, в то время как голубые глаза безмятежны и даже наивны.

Все эти, казалось бы, собранные от разных человеческих типов черты складываются в своеобразный, довольно приятный рисунок. В нём проглядывают и простодушие, и бесшабашность, и располагающее к себе лукавство. Андрея иногда зовут Андрияш, но чаще Черёмуха-рябина, потому что эти два слова он добавляет чуть ли не к каждой фразе.

Бывает, сижу за работой, и вдруг кто-то стучит в стену.

— Митревна, вот тут, черёмуха-рябина, Маша тебе гостинца шлёт.

Он, улыбаясь, развёртывает чистое полотенце, в нём ещё тёплые, пышные булочки.

Я знала, что в этом случае нужно делать, и, он, зажимая в руке ответный подарок, всё ещё улыбаясь, но уже с нетерпением объясняет:

— Ребятишек, черёмуха-рябина, тоже нужно побаловать. Вчера получил аванс, купил два пуда пшеничной муки. Вот и печёт. Она мастерица большая.

И, что-то якобы вспомнив, делается вдруг недоступно важным и торопится «по делам».

Когда Андрей входил в избу и видел гостей за столом, он опускался на корточки у порога и жадно, сосредоточенно принимался дымить сигаретой.

— Андрей, подсаживайся к столу, — звал его кто-нибудь из сидящих. Он энергично мотал головой, изображая скромность. Ему подносили стакан, и он принимал его, потупившись и краснея. Человеку, не знающему повадки Андрея, становилось до смерти неловко, Андрей же, продолжая начатую игру, низко, насколько позволяло положение, кланялся, бормотал: «Премного благодарен».

В какой-то нематериальной среде формировалось произнесённое слово «благодетель». Оно было настолько осязаемым, что вконец смутившийся «благодетель» хватал со стола колбасу или сало, совал Андрею: «Ты закуси, закуси». Тот утирался рукавом и, повертев бутерброд в руках, прятал его в карман. Может, для ребятишек: он был единственным, пожалуй, на весь сельсовет многодетным отцом.

Но кто знал Андрея, тот водки к порогу не подносил, а говорил ему строго: «Ну хватит, бросай курить и — к столу». Андрияш делал глубокую затяжку, окурочек растирал сапогом, присаживался бочком где-нибудь с краешку. Он не ел, не пил, а прислушивался к разговору, глаза его становились серьёзными, и видно было, что он прекрасно разбирается в том, о чём говорят за столом, но мнения не разделяет.

У Андрея большая изба из двух тёплых половин, каждая метров по тридцать, холодная горница, просторные сени. Года три назад совхоз помог ему её подрубить, заменить венцы и рамы на всех четырёх фасадных окнах. Потом Андрей пристроил и застеклил терраску. Дом, ещё недавно жалкий и кособокий, обрёл вполне достойную, благообразную внешность, и, хотя не был обшит тёсом и покрашен, выглядит он нынче крепче иных нарядных деревенских построек. Какая-то в нём основательность, домовитость, что в немалой степени, мне казалось, зависит от его чадолюбивой супруги Маши.

— А знаешь, я ведь на Маше-то второй раз женат, — сказал мне как-то Андрей в минуту откровенности.

Мы сидели на бугорке над озером. Была та удивительная пора, когда только что отцвели черёмухи, травы пошли в рост, запестрели колокольчиками, звёздами гвоздик и ромашек, а соловьиные концерты в оврагах и у прудов достигли своей кульминации. Соловьи неистовствовали вечерами и особенно серебристыми от лунного света ночами. А один из них до того распелся, что не мог остановиться и днём. Трели его отличались какой-то особой стекленеющей чистотой, совершенством колен. Он сам, выводя и нанизывая их, наслаждался исторгаемыми звуками. Они возникали неожиданно среди тишины, высокие, сильные трели и стукотни, рассекающие наполненный ароматами воздух, и сразу же переходили в резкое цоканье, он обрывал незаконченную ноту до того, как она погаснет сама. Птаха захлёбывалась в своих лешевых дудках, раскатах, свистела, дробила, перестукивала, теша себя самоё и невольных слушателей удивительного концерта.

Андрей даже крикнул от удовольствия и ловким движением распластал по земле свой пастуший кнут.

Пятнистые черно-белые коровы, которых он пас в то лето, тяжело, но нетерпеливо взбирались на гору и растекались по клеверищу.

— Пятнадцать минут попасём — и обратно на луговину. А то объедятся. Вгон очень тяжёлый, а ты гляди, как торопятся на сладенькое-то. — Он оглядел своё стадо и вдруг сделал зверскую гримасу и истошно заорал на корову, которая блудливо, бочком норовила отбиться от стада и дерзнуть в орешник.

— Куда пошла... — Он добавил несколько затейливых выражений и, будто опомнившись, оглянулся, застеснялся, потупился. Корова же сделала вид, что она и не собиралась отбиваться от стада, стала со всеми вместе торопливо хватать клевер.

— За татьяниной Дочкой только смотри, так и норовит какую-нибудь подлость выкинуть. Раз я за ней полдня по кустам гонял, — всё ещё смущаясь, заметил Андрей. Чтобы избавить его от нарочитой промашки, я спросила:

— С чего это вы расходиться-то вздумали? Детей полна изба.

Андрей почесал затылок, сдвинув трех, который носил даже в жаркие дни. Он почти закрыл правый глаз, а левый смотрел лукаво и весело. И вдруг этот глаз устрасюще округлился. В нём отразилась непримиримость. Андрей приподнял голову, помедлил, словно решался, открыть или нет его страшную тайну, произнёс:

— В неверности заподозрил!..

Он был так комичен сейчас, этот кришкинский Отелло, в каляном пастушьем плаще, в старом трехухе, с редкой трёхдневной порослью бороды, что я не могла удержать невольной улыбки. Он мгновенно всё понял и тоже заулыбался, уже добродушно, мягкосердечно.

с. 171

— Молоды были. Всякую неурядицу брали в толк. На что время тратили...

Вздохнул, в глазу появилась искренняя тоска.

— Жизнь моя иной раз такая была, хоть в гроб ложись и живой на погост. И то бы легче...

Он поправил шапку и как-то отчуждённо глядел на озеро, словно не видел его.

В это время в овраге с новой силой рассыпал серебристую трель соловей, печаль отступила, отпустила Андрея, и уже как о чём-то давнем, зажившем он стал рассказывать, как в четыре года осиротел. Умер отец.

— Желудок лопнул. Язва была. А потом через восемь лет от чахотки скончалась мать. Дедушка поддержал. Четверо было нас. Потом осталось два брата. Один женился, сестра подалась в Москву на завод. И нынче там живёт... А я как ушёл от Маши, два года вёл сам хозяйство. Я всё умею... — Это он произнёс хвастливо, посмотрел, подождал. Я промолчала, и он сказал с долей разочарования: — Ну, а потом женился опять.

— На Маше?

— Да нет. Другая была жена. Жили мы с ней в Милитино, нажили двух детей. Она тридцати четырёх годов умерла. Рак желудка. А Маша — смотри-ка ты, через пятнадцать

лет, а всё-таки на крючок опять меня подцепила. С ней нажили шестерых детей да семерых схоронили. Вот она жизнь-то какая, всё рассказать — не поверишь.

К нам подошёл красивый мужик с кудрявой, пробитой сединой бородой и голубыми глазами навывкате, смотревшими как-то насмешливо, бесцеремонно. Он скинул с плеча тянувшийся за ним кнут и грубовато сказал:

— Давай отгонять, обожрутся...

Это был Павел Дратинский, второй, но, похоже, главный пастух.

Он был не молод — перевалило за пятьдесят, — но даже в торчащем колом плаще, в шапке, из-под которой выбивались длинные волнистые волосы, походил на былинного русского богатыря.

Андряш хотел ему возразить, но только взглянул на него и сказал:

— Иди, я сейчас.

Ему очень хотелось поговорить, закончить какую-то ещё не сформировавшуюся мысль. Он смотрел на озеро, над которым степенно гуляли белые облака, взбитые, как пуховые перины. Они были величавы, неспешны, встретившись, останавливались, отдыхали и снова начинали медлительное шествие.

Озеро было спокойно и дышало свежестью. Когда-то гигантский ледник приполз сюда и начал таять, оплывая слезами. Кончилась его жизнь, перешла в это озеро. Лёгкая рябь бежала по синей воде. Вдали замерла одинокая лодочка — чёрная точка среди необъятных просторов воды.

— Ну что, Андрей, хорошо оно, озеро-то?

Он взглянул на меня, не понимая, как это можно задать столь нелепый вопрос. И вдруг с каким-то неистовым восторгом воскликнул, словно нашёл свою мысль:

— Ужась!

— Как это понимать? — поинтересовалась я.

— Приволье!

Больше он ничего не сказал. Не нашёл необходимости объяснять, какую красоту ему даровала природа. Встал, щёлкнул кнутом и хрипло, словно другой человек, заходя напротив Дратинского, заорал на коров, отгоняя их с клеверов. Они неохотно покидали поле, возвращаясь на зелёную луговину, к озеру, где до вечера будут тщетно сощипывать мелкую травку.

---

Престол совпадал в Криушкине со временем комариных игр. Они собираются в столбы, похожие на тёмные, шевелящиеся смерчи, но не мчатся, всё захватывая по пути в свою орбиту, а, возникая у земли, верхом своим упираются в небо. Насекомые, увлечённые своим весельем, не могут покинуть игрище, разрушить столб и как заворожённые держатся вместе.

Потом они куда-то улетают, эти комары-долгунцы. В лесах — там другие, особенно ближе к болотам, на земляничных полянах, — тех берегись, заедят. Нигде не видела подобных столбов, эдакого радения насекомых. Тучи мошки — другое дело. Та налетает и жалит, а эти что?

Я спросила Андрея, подрядившегося мне сделать наличники и пришедшего за авансом, что это за явление.

Он посмотрел на шевелящийся столб, стоящий над лужайкой у самой моей калитки, и произнёс равнодушно:

— А это они поминки справляют...

Но вот равнодушие сбежало с его лица, глаза засветились хитрецей. Ну, думаю, надо слушать! Андрей любил и умел потолковать, изображая всё действие в лицах. Он обладал природным актёрским дарованием, знал множество историй и, начиная рассказ с одного, умел повернуть на своё, преследуя нехитрый интерес, стоящий на полке в Машинной лавке.

— Так вот, черёмуха-рябина, раньше в наших местах росли леса, чащи непроходимые, и в них скрывался разбойник Никита. Он крякнул, пылливо посмотрел на меня. — Ты, может, слышала, тогда через наши земли торговый путь проходил на Новгород по Оке, по Волге, по Нерли до нашего озера, мимо монастыря, как раз там, где нынче леспромхозовские машины ходят. Видела, возят хлысты? На этой большой дороге он и баловал со своей ватагой. Округу — крестьян — обложил непомерной данью и совсем разорил, без скотины оставил — надо было, черёмуха-рябина, ему шайку кормить. И гулять любил.

Раз принёс в это его чёртово логово крестьянин мешок. Никита и спрашивает: «Что там у тебя в мешке?» — «Мясо», — ответил мужик. «Тогда вали в котёл». Мужик так пристально

посмотрел на разбойника, у того почему-то сердце ёкнуло, вывалил в котёл, что было в мешке, и пропал.

с. 172

Котёл кипит, варево варится. Время к пирушке близится. Подходит Никита к котлу, а из него то детская ручка, то ножка высовывается, и манит, манит... Разбойник как закричит и стал на себе рвать волосы. Бросился в лес, выбрал болото самое что ни на есть комариное. Лёг в него и отдал себя на съедение. Комары из него по капельке высосали всю грешную кровь. С тех пор, черёмуха-рябина, они и пляшут, веселятся, справляют поминки. Вон, вон, что делают.

Андрей помахал рукой, столб разрушился, но тут же восстановился, и комары с большей яростью затолкались.

— Всякая тварь безмозглая, а смотри-ка, как радуется. Раскаялся грешник — в святые зачислен. Никитой Столпником назван. В честь него и престол.

Это было нечто новое в толковании предания о Никите, лице историческом, налогосборщике, распутнике и мздоимце, жившем в XII веке в Переславле. Он вёл разгульную, пьяную жизнь, растратил казну и решил покаяться, уйдя в монастырь. Надел на себя вериги, спрятался в сруб. Однако переславцы, помня его бесчинства, ворвавшись в монастырь, убили его, после чего он был причислен к лику святых.<sup>1</sup>

Как-то ветреным хмурым днём озеро, ещё совсем недавно неподвижное и тяжёлое, вдруг разом встревожилось и начало яростно «клёскаать». Оно сделалось как гигантский кипящий котёл. Короткие злые волны с клекотом пожирали друг друга, проваливались куда-то, взбухали снова и клокотали в неистовом бешенстве.

Андрей, закутавшись в свой каляный плащ, лежал на берегу, глядя на воду. Голодные коровы его бродили по луговине, сощипывая мелкую жёсткую траву.

— А знаешь, какое оно опасное? — задумчиво произнёс пастух. — Вроде мелкое, а попадётся в такую бурю, и можешь с жизнью прощаться. Хуже моря!

— Так уж и хуже!

Он иронически усмехнулся и приподнялся на локте.

— А кто не верит, тот и рассчитывается. Как энти трое. — И посмотрел выразительно, как бы предупреждая от легкомыслия, от непочтительного отношения к седому Плещею.

Трагический случай с тремя молодыми людьми у всех был на памяти, но уже начал обрастать легендами. Я так и не знала, где правда в том, что рассказывают, где вымысел. Пожалуй, и никто не знал, а всё же при каждом случае повторяли. Озеро не могло не рождать легенд.

— Их же предупреждали: «Не вздумайте, мол, с Плещеем шутить». А они: «Мы в море на шлюпке ходили, в шторм. А это — лужа»... Все трое утопли... Одного так и не нашли, утянуло. У озера, говорят, есть второе дно... — Андрей уставился на воду, будто хотел проникнуть сквозь её толщу, увидеть, где оно там, это двойное дно. Со стороны Криушкина озеро мелководно. Идёшь-идёшь по песочку, и всё по колено. Потом, говорят, начинаются ямы. Мне так ни разу не доводилось добраться до них...

— А правда ли, Андрияш, там есть и пещеры?

— Это уж точно... Те трое, когда утопли, то одного из них выбросило туда, — он показал на противоположный берег, едва различимый в тумане поднявшихся мелких брызг. — Другого — сюда. Плавает, плавает вниз лицом. Бабка одна бельё полоскала. «Что же ты, — говорит, — так плаваешь-то?» И вдруг смекнула: дело неладно. Закричала, людей позвала. Увезли его, стали искать ещё одного. Вызвали водолаза. Тот шарил по дну, потом выплыл. Сняли шлем, смотрят, а он не в себе: «Сколько, — сказал, — ни работал, а страха такого нигде не видел».

Андрей посмотрел на озеро. Глаза его наполнились ужасом. Он явно преувеличивал происшествие. Иначе, однако, не мог. Его натура требовала игры, переживания зрителей.

— Там, — он показал на запад, где на низком болотистом берегу среди деревьев белели постройки на усадьбе лесника Вячеслава Ивановича Капитонова, — там они, в глубине пещеры. Когда водолаз добрался до них, думал, брёвна какие застряли. Пошарил фонариком и обомлел — это не брёвна, а шуки. Пасти рязинули, панцири вместо чешуи заостенелые,

<sup>1</sup>Шапошникова серьёзно искажает житие Никиты столпника, ей нельзя доверять. — *Ред.*

мхом покрытые, лет им по триста, не меньше. Смотрят на водолаза — а сами ни с места, чуть не скончался от страха, едва-едва выплыл.

— Ой ли? — я засмеялась.

Но Андрияш так увлёкся своим рассказом, что сам, казалось, поверил в него и поёживался и вздрагивал, словно это сам он стоял против щук на дне озера и они, зелёные, древние, намеревались его проглотить...

О щуках в Криушкине ходит много легенд. Ранней весной, когда лёд на озере проедает большими тёмными полыньями, в них появляются щуки. Они ходят, мощно расталкивая бутылочно-прозрачную воду, и рыбаки, собравшись кучками на берегу, с вожделием смотрят на извивающиеся хребты. Щуки мечут икру, и лов запрещён. В избах на чердаках ржавеют старые остроги, с которыми выходили на вешнюю азартную охоту предки нынешних криушан. Рыбаки вспоминают о двухпудовых рыбаках, взятых на острогу, о медной серьге, навешенной какой-нибудь из плещеевских обитательниц чуть ли не при Иване Грозном, а уж при Петре-то наверняка.

Рыбнадзор в это время смотрит в оба. Распалившись воспоминаниями, кто-то иногда не выдержит, спрячет под телогрейку острогу — и к озеру, да подальше от дома. Возле Криушкина чаще встречаются городищенские или обитатели Троицкой слободы.

— А ты, Андрей, пошаливаешь острогом? — Я его подзадориваю, мне хочется, чтобы он продолжал рассказы, в которых правда всегда у него переходит в фантазию. Но он, похоже, исчерпал запал.

— Как можно! — только и произносит он и опять ложится, упираясь взглядом в разбушавшееся озеро...

---

— Митревна, посмотрела бы, какую я люстру купил, — похвастался как-то Андрей.

Вечером на досуге я завернула на огонёк. Семья была в сборе, вернее, то, что осталось от семьи. Андрей с женой и трое младших — старшие уже разлетелись по городам. Сын в Якутии, дочка в Кременчуге, двое в армии. Этих я даже не видела. А Лёню вот знаю. Совсем недавно он был застенчивым, тихим подростком, и вот уже — ученик переславльского ПТУ. Избрал городскую специальность, будет сантехником.

В задней комнате на столе кипел самовар. Андрей только что возвратился с работы. Он сидел, отдыхая у окна на скамье. Маша экономно откусывала от кусочка сахара, пила стакан за стаканом чай. Ребятишки то и дело протягивали ей пустые чашки, и она, не выпуская блюдца и прихлёбывая из него, одной рукой открывала кран, нацеживала кипяток, плескала из чайника жиденькую заварку. Серёжа и Миша принимались дуть в блюдце и так же торопливо заглатывать чай. Вера пила степенно, как мать, экономя сахар.

Маша прервала своё сосредоточенное занятие только лишь на минуту, чтобы достать из серванта чашку, но я удержала её, отказавшись от чаепития.

— Да, люстра у вас хороша. Чешская. И диван хорош. И сервант, — я нахваливала обнови Рядновых, они улыбались, довольные.

— А это чей же портрет? Не твой ли, Андрей?

В тёмной самодельной рамке на стене висела увеличенная фотография. Спросила я так, для порядка. Андрея было нетрудно узнать. Он как-то не очень и изменился.

— Я и есть, — отозвался он и горестно, глубоко принялся вздыхать. Он знал, что последует вопрос, чем вызвано это его огорчение, и не обманулся в надеждах. Андрияш ещё больше заохал, начал жаловаться на свою тяжёлую жизнь, особенно в годы войны, когда ему пришлось «пережить, черёмуха-рябина, одному столько, что если на два десятка людей разделить, и то до конца их дней горечь во рту не пройдёт».

Он долго, со всеми подробностями рассказывал мне, как два года жил в оккупации. Наголодался, намучился, видел расстрелы, издевательства оккупантов над мирными жителями. Сам каждый день по краю ходил, особенно когда стало известно, что он не местный.

— Как-то попал на допрос, — говорил Андрияш. — Немец здоровый, переводчик. Уж так меня там мушкатили, орал: «Расстреляем!» Заперли в сарай. Думал, конец. Партизаны освободили.

Андрей, рассказывая в подробностях дни этой жизни в Западной Белоруссии, то и дело принимался плакать, вздыхать.

Дети замерли, отставили чашки и сами, чуть не плача от жалости, слушали отца. А Маша, не переставая пить чай, дивилась:

— Чтой-то вопишь-то? Сколько рассказывал, никогда не вопил.

Он даже не слышал недоумения жены, да и что она понимала в рассказах...

Андрей вспоминал, как попал в партизаны, как ездил за продуктами, подшивал партизанам сапоги, ухаживал за скотиной.

— Три благодарности получил от командира бригады. Так-то вот.

После, когда в сорок четвёртом году их партизанский отряд соединился с регулярными войсками Красной Армии, он двинулся вместе с ними на Запад. Дошёл до Германии — и тут в один день получил четыре ранения.

— До сих пор не действует левая рука, черёмуха-рябина. Вот, посмотри... Он поднимал рукав и показывал шрамы, дети смотрели на него, как на героя.

А может быть, он и правда герой. Восемь детей. В наше время не шутки.

— Как, Маш?

Она вздохнула, перевернула чашку и положила на доньшко маленький жёлтый кусочек сахара.

— Ужотко допью. — И, взяв ведро, пошла во двор доить пригнанную Андреем корову.

## Заботы Анны Кукушкиной

Анна Алексеевна Кукушкина неодобрительно посмотрела из-под руки на велосипедиста, ехавшего через деревню от леса. Обычно из леса ездят по дороге вдоль озера, где леспромхозские грузовики возят на переславльский дровяной склад хлысты — длинные, с обрубленными сучьями, еловые, берёзовые или осиновые стволы. А этот, видно неопытный, колесил себе верхом. На раме его машины был укреплён мешочек, и, судя по выпуклостям, в нём были орехи.

Анна Алексеевна ничего не сказала, но по тому, как резко потянула цепочку, которой прикручивала к кольям изгороди пятнистую тёлку, можно было догадаться, что она рассердилась.

Только что мы с ней мирно беседовали. Анна Алексеевна смеялась, рассказывала, как года три или четыре назад — время бежит — не догонишь — к ним приезжал какой-то москвич. Созвал старух, поставил на стол бутылку и заставил их петь. Они поначалу стеснялись, а потом разошлись, вспомнили старину, песни, какие их бабки в молодые годы певали. И притопывали, и хороводили. А он всё записывал да записывал. А песен-то раньше знали — за год не перепеть.

Анна Кукушкина выжидательно посмотрела на тёлку, которая мирно пощипывала траву, но, увидев неподалёку какой-то зелёный кустик, потянулась к нему, пытаясь сорваться с привязи. Попытка не удалась, убедившись в бессмысленности своей затеи, тёлка вернулась на место, а Анна Кукушкина к прерванному рассказу.

с. 174 — Многие нынче забылось. — Она вздохнула. — А раньше на каждое дело песня была. Масленица любила гулёвые, весёлые, на беседах — так в Криушкине назывались посиделки — бабы, посиделковые, долгие. Бывало, как зима придёт, задует, бабы по вечерам собираются вместе, время зря не расходуют, прядут или ткут, а сами поют. Слаженно пели, душевно.

Есть песни плясовые, обрядные, плачи — когда как душу выразить было надо, так и пели. На покос идут — поют. С покоса — опять поют. Сядут отдыхать — прибаутки, шутки. Ох, и голосистые были девки!

— Спели бы что-нибудь, — попросила я и тут же подумала: просто так ведь не запоёшь. — Ну хотя бы наговорили слова, без мотива.

Она, может быть, даже спела бы или наговорила слова, да нужно было ему объявиться, этому велосипедисту-разбойнику.

— Он криушкинский?

Анна резко и энергично повернулась ко мне. Сколько в ней душевной силы и боли за эту родную природу, в любви к которой растили её с ранних лет. Лицом молода, умный и пронзительный взгляд.

— Наш-то не стал бы так драть, — процедила она о велосипедисте. — Ведь август ещё не пришёл, а он пожалуйста. Нащипал. Да что в них сейчас, в орехах-то. Одно молоко.

И возмущалась:

— Никаких запретов тебе, что хошь, то и делай в лесу.

— А раньше были?

— Раньше были. — Она посмотрела на меня, как бы раздумывая, сказать или нет, и сказала:

— Раньше порядок был. Орешники стерегли. До самого преображенья к ним прикоснуться никто не смел, — и, усмехнувшись, спросила: — Поди не знаешь, когда его отмечают, преображенья-то? Ну всё равно, запомни, как девятнадцатое августа подойдёт, тогда и ступай себе в лес по орехи и до успенья бери. Зато и орех был! Такой мешок, как у того, с куста набирали. А как овсы начинали косить, тогда кончался орех. Успенский орех самый крепкий — жёлтый, полный. А сладкий какой! До пасхи держался. Праздник придёт, гулянка — у девок да ребятишек орехи — забава. Я человек орешниковый. Толк знаю.

Тёлка снова потянулась за кустиком, дёрнула, цепочку оборвала и подрала по деревне. Я кинулась было вдогонку.

— Оставьте. — Анна взяла меня за руку и кликнула мужа.

Он казался из дома, маленький, будто усохший. В его лице было что-то детское и весёлое. Это выражение придавали ему морщинки у глаз и несколько великоватый, растянутый в постоянной улыбке рот.

— Ты вот что, свяжи как следует цепь. Ведь говорила, что оборвёт. А ты: «Не бойся, не бойся». Вот и не бойся теперь. — И мне: — Про тёлку не беспокойтесь, вернётся. А побегите за ней, подумает, что играет. Тогда ни за что не догоните, заматает.

Никита Иванович стал возиться с цепочкой, и Анна следила за ним. Он всё делал правильно, и она успокоилась, вернулась к мысли, её волновавшей.

— Вот от таких приезжих, которые ни обычаев наших, ни порядка не знают, один лишь урон. Орешники стали плохо родить. Почему? Приезжие, не жалеючи, их ломают, дерут. Приедут к озеру на машинах. Палатку ставить, костёр разжигать — в орешник. Рогатину — вешать котёл — туда же. Выберут куст потолще, кому жалеть. Завтра его здесь не будет. А сколько их едет, идёт пешком. Вон на горе орешник насквозь весь просвечивает, а раньше был — не пробьёшься... — И вздохнула горько: — По порядку всё шло: сход решил — по малину, пошли за малиной, в преображение она кончается, а в конце августа поспевают брусника, клюква успенская, краснобокая, самая хорошая. Беречь бы всё это даровое добро, естественное, природой дарённое. Да как сбережёшь от таких, — велосипедист, оборвавший недозрелый орех, не давал ей покоя.

— Нынче много заботы об охране природы, — я сказала ей про указы.

— Заботы-то много, да сверху не сбережёшь. Это нужно на месте, здесь. Как мы тогда орешники берегли. Любили. Да и людей тогда было не то что теперь. Они, старики-то, уж не такие глупые были, когда на старых местах укореняли людей. Наше Криушкино, почитай, постарее самой Москвы. О нём бы заботы побольше.

— Раньше всё по-другому было.

— Что верно, то верно, — согласилась она и, словно бы испугавшись, воскликнула: — И что это я разболталась. Думай сама. — Она вздохнула и провела ладонью по лбу, откинув волосы.

Я стала расспрашивать про сход, где он и когда собирался.

— А у часовни, в середине деревни. Сойдутся старики, рассуждают про землю, про покосы, как делить — уж вот где шуму-то было! Когда начинать закашивать, репу брать, горох убирать.

— Ох и злые старики были, — вмешался Никита Иванович. — Нас, ребят, близко не подпускали. Как увидят кого из ребят, аж бородами от злости трясут, гонят, ругаются. Никто слова поперёк не смел сказать. — Он отложил цепочку, оживился, вспомнив, как ему частенько влетало, потому что очень любил он баловать. То доску перевернёт, то свистнет не вовремя. В нём и сейчас было что-то озорное, ребячье, и морщинки легли в такой рисунок, наверное, потому, что нрав его был весёлый.

— А что это за доска. Где её ставили?

— А у часовни ставили, кому сход собирать, чья очередь нищих разводить на ночлеги. Был обычай: если нищих в дороге застала ночь, то бери их в избу ночевать. По очереди, как определяли на сходе. Больной иногда, весь в струпьях — послушаться не имеешь права — принимай. Накорми его, постели ему на лавке, а то и на лежанке. А нет, так запрягай лошадь и в город вези на своей телеге. Нынче «скорая помощь» возит — Нинка Бородулина, бригадиршина дочь, — может, слыхали? А тогда повинность, сами везли.

Он засмеялся, довольный своей остротой, и морщинки заплескали на его лице.

Тёлка, набегавшись и видя полное к себе невнимание, бочком, как бы нехотя, приближалась, готовая вот-вот сорваться и мчаться опять по деревне, подкидывая в восторге задние ноги. Она подошла к хозяйке, намереваясь о неё потереться и пожевать её фартук.

Та тихо взяла её за ошейник, а муж зацепил цепочку и водворил беглянку на место. Теперь опять можно было спокойно потолковать, благо было время, погода хорошая да, как говорят, и заслуженный отдых.

— Деревня кончалась вон у того дома, — снова заговорила Анна и показала на скособочившийся, совсем одряхлевший дом, — один на всю деревню такой. В нём доживает свой век одинокая бабка, и ей не под силу не то чтобы ставить новый, а даже поднять, сменить подгнившие нижние венцы.

Однажды я слышала, как она жаловалась своей старой подруге, такой же согнувшейся, как сама:

— Раньше с работой набивались, а теперь рот разинь — не дозовёшься.

И уж что верно, то верно. Как-то с председателем сельсовета, Иваном Андреевичем Макаровым, мы перебирали плотников, живущих в трёх деревнях — в Афоново, Городище, Криушкине. Едва насчитали шесть человек.

— Людей прибавлялось, — вспомнила Анна, — семьи делились. Ох, и народу было! Только ровни моей — погодков — семнадцать девок и двадцать ребят. В каждой избе набито, отделятся — усадьба нужна, старики по концам не давали строить. Упаси бог, земля отойдёт. Бородами трясут, молодым и рта не дают разинуть. Злые, в косоворотках. Они только и действовали тогда. Судили, рядили, заглядывали вперёд. Уж как ругались: «Без земли людей хотите оставить! Вам только потакни». Девкам земли не давали. А у кого одни девки — беда. Только и путь, что в няньки. Или в прислуги в город. Криушкинских наших любили, воспитаны были в трудолюбии, в строгости...

Нынче-то землю перестали жалеть. А тогда, как сход, только об этом и толкуют. Ну и с людьми не считаться нельзя. Жить при Советах стало вольготней. Хочешь не хочешь, а землю давай. Вон ту луговину взялись распахивать. Там, — она показала в сторону озера, — овины да загородки снесли, а избы поставили.

— На Кундыловке? А мне казалось, она здесь самая старая.

— Какая же она старая? Первый дом сложили только в двадцать пятом году. Крепкий, из крупного леса, в крюк рубленный. И сейчас он стоит, можете посмотреть, если интересуетесь. Москвич в нём живёт, Владимир Кузьмич, поди, ваш знакомый. Магазию это была.

Магазиюми раньше называли склады-амбары или лавки в каком-нибудь жилом доме.

— У вас что же, лавка была? — поинтересовалась я.

— Ничего не лавка, — возразила Анна. — Склад был, хранили общественное зерно, для помощи бедным.

Уберут урожай, и каждый от себя, кто сколько мог, — фунт или пять давал. К весне, когда голодно, у кого ребяташек много, к старосте обращались. Им выделяли помощь по решению схода.

Нас тоже у тяти было восемь душ, но мы никогда не просили. Работали, правда, от зари до зари. Придешь, бывало, с гулянки, часок поспишь, а мать уже будит: «Анка, вставай навоз возить». Ничего, слава богу, жили, пшеница была своя. С колобиной не мешали.

К нам подошла пожилая полная женщина, приехавшая в Криушкино во время войны, да так и осевшая здесь.

— А что это за колобина? — спросила она. — Что-то не доводилось слышать...

Анна Алексеевна пытливо взглянула на неё: как так, живёт в деревне и не знает. В войну сама натерпелась немало. Не дождавшись объяснения, выразила сомнение:

— Уж так и не слышали? Поди и попробовать довелось. — И повернулась ко мне, объяснила: — Выжимки это ото льна, жмыхи. Их размочат, натрут картошки, мучицы добавят — и в печу, на под. Хлеб получается клёккий, тяжёлый. Иль не ели такой в войну? — снова спросила гостью.

Та продолжала молчать, только губы поджала.

— Нет, мы жили неплохо, что зря говорить. Вдовам, тем приходилось худо. Все её обижают, обкосят кругом, пахать наймёт, потом всё лето молоко таскает, расплачивается. И защитит её некому.

— А что же хваленый ваш сход-то, куда он смотрел? Вот вы всё старое защищаете. Не было в нём ничего хорошего, — подала наконец свой голос пришелица. Это был, кажется, какой-то давний и незаконченный спор.

Теперь уж Анна Алексеевна не ответила ей.

— Так с магазию Кундыловка и началась, — она разговаривала только со мной. — Да не одна здесь была. Дома ещё поперёк стояли, вот так. — Она начертила четырёхугольник. — Тоже

Кундыловки. Что означает слово? Вот не скажу. Тех, боковых-то, давно уж нет. А пойдёшь по лугу, увидишь ямы с бурьяном: знай — всё это были дома. Когда земляника поспеет, коль некогда в лес идти, туда ступай. Ищи на буграх — там одичавших ягод полно. Намедни шла с озера и мигом насбирала целую банку. — Она показала на забор, где на кольях были надеты до блеска отмытые полулитровые банки.

— Школа была своя. Красиво стояла, с видом на озеро. Ребят-то было полно, в классах не умещались. А по деревне что пропало домов!.. Вон, вон, вон...

Там, куда Анна кивала, зияли разорвавшие улицу пустыри, на них росли одичавшие яблоньки да обглоданные скотиной вишнёвые деревца.

— Плохо жили, да родили, а теперь во всё у нас полный достаток: и радио, и телевидение в каждом доме, а порадоваться не с кем. Телевизор, он что, с ним не поговоришь, когда душа того просит. — Это было адресовано госте.

— Зато и не надрываешься, как бывало, — подхватила та разговор.

— Что верно, то верно — не надрываюсь. Всё есть у нас — и пенсию получаем от государства, и обстановка, и дети хорошие в городе, а всё не хватает чего-то. Другая жизнь пришла. Мы ещё к ней неприспособленные. — Она подумала и вздохнула: — Порядку бы в ней побольше, слаженности. Каждое дело порядка требует — как начать его, как вести, как кончить. А жизнь человеческая тем более.

Мне показалось, что гостя с ней согласилась в этом. Чтобы не мешать их спору, я стала прощаться, взяв с Анны Алексеевны обещание напеть мне ещё не забытые ею песни, когда, разумеется, придёт настроение.

Не скоро, думалось мне, установятся новые отношения человека с природой. Чтобы каждый вот так любил её и берёг, как любит свои орешники Анна Кукушкина.

## Божественное

В Криушкино из Переславль-Залесского можно попасть, или поднимаясь от озера, или через большое, лежащее в двух километрах село Городище. Дорога от Городища идёт на спуск, и с гребня холма открывается для обзора картина редкостной красоты. Деревня — три ряда домов: два — главная улица и один — Кундыловка, озёрная ширь, над ней крутобокие белые облака, лес, ближний, весёлый, с берёзовым частоколом стволов, и дальний, синий, суровый, — он замыкает пространство, размытую в дымке линию горизонта.

Даже ученики городищенской восьмилетки, возвращаясь из школы к себе в Криушкино или в Княжево, прежде чем разбежаться по домам, прощаются не в деревне, а там, на горе. Они стоят на переломе, сливаясь с небом, и договаривают свои ребячьи истории. Потом припустят под гору криушкинские — уже дома, а княжевским ещё бежать да бежать...

По этой же дороге увозят со скотных дворов в цистерне молоко, привозят хлеб в машине — железном фургоне, а часто на лошади. Она спускается с горки мерно, с достоинством, большая и сытая каурка, запряжённая в скрипящую телегу. На ней в деревянном ящике хлеб. Спирной привалившись к ящику, потряхивая вожжами, сидит на телеге хлебовоз Иван Никитич, инвалид войны.

Едва он въезжает в деревню, как к нему устремляются обитательницы нашего края деревни. Пока Иван отсчитывает в их сумки буханки, они успевают переговорить обо всех новостях — о новых покупках, о болезнях, о свадьбах: молодёжь хотя и разъехалась по городам, а свадьбы многие едут справлять в деревню, к родителям.

Я тоже всегда бежала к Ивану Никитичу. Хлеб из его добрых рук мне казался вкусней и душистей, чем в магазине.

Отторговавшись здесь, на краю, хлебовоз ехал теперь до самого магазина, стоящего в центре Криушкина, возле пруда. Тут, часто с помощью покупателей, он разгружал коробок. Когда оставалось один-два рядка, говорил:

— Ну, будет, это для Княжева, в Милитино тоже нужно. — Там не было магазинов. Он поправлял рядок буханок, захлопывал дверцу. Они проверяли с Машей накладные, рассчитывались за проданный хлеб, и возчик трогался дальше.

Однажды в летний день мы с Серёжей и Женей, детьми из Москвы, томившимися в деревне от отсутствия сверстников и уже привычных городских развлечений, отправились на прогулку в Княжево. Мне сказали, что в Княжеве есть старик, который знает много исторических фактов. О нём говорил учитель Теплов.

Жёлтая, с прогретой пылью дорога струилась нам под ноги, зажата стоящими с двух сторон зреющими хлебами. В небе кувыркались, звенели жаворонки, прославляя небо и ширь — простор окрестных полей и лесов, — поэзию русской природы. Ах, как честно они трудились, малые птахи, и ни одной ведь фальшивой нотки. Их голоса гармонично сливались с природой — чистым и ароматным дыханием ветерка, этим волнующимся морем хлебов, воздухом лёгким и чистым — всей красотой, которой молодые сосенки на лесной полосе засветили пяти-свечия молодых побегов. Откуда-то из зелёных дебрей доносится протяжная птичья просьба: «чи-чи-чи-пи-и-и-ть». Она повторялась и повторялась и вдруг органично слилась со скрипом колёс.

Нас догонял хлебовоз. Сойдя на обочину, мы подождали его. Привыкшая к определённо-му ритму, неторопливо шагала каурка, взбивая копытами горячую пыль. Иван Никитич, как обычно, сидел на краю телеги, покачивая в такт движения деревяшкой. Он придержал свою лошадь, подвинулся и предложил ребятишкам сесть.

Те быстро и весело вскарабкались на телегу и тоже стали болтать ножонками, а я пошла рядом, держась с наветренной стороны, спасаясь от пыли.

— Давно вы развозите хлеб?

— А что инвалиду делать, — откликнулся он, пошевелил вожжами и деликатно спросил: — А сами откуда приехали? Из Москвы? У нас теперь много московских. А почему, слышь, в Криушкине селятся? Вон Городище и к Переславлю ближе и есть в нём и клуб, кино показывают, а москвичи обходят его. Княжево далеко, а там тоже двое. Иль красота привлекает?

Разговор потёк, и ребята слушали нас с интересом.

— Княжево, что за деревня?

— Ничего, неплохая. Чисто, богато живут, и стоит хорошо. Вон, смотри, как на блюде.

Деревня видна была из-за посаженной некогда лесной полосы и нынче разросшейся зелёным заслоном. Рядок домов на холме стоял открыто, пестрея чешуйчатой дранкой крыш.

с. 177

— Хочешь, скажу? Как соберёшься в лес за грибами, иди в эту сторону. — Возничий показал на лес, подходивший к Княжеву почти вплотную, он был ровнее и гуще, чем у Криушкина. — Здесь самые что ни на есть грибы. На мотоциклах да на машинах по главной дороге все едут. Это всё переславские, есть даже из Ярославля. На озеро по грибы, по ягоды. Нынче на горях малина пошла.

— А что за народ там, в Княжеве?

— Народ как народ, хороший, трудящийся.

— Да я не об этом, знаете, есть пословица: что ни город, то норы, что ни деревня — поверье.

— Это так, — согласился Иван. — Только люди в деревне небалованные. В совхозе не на последнем счету. Есть, конечно, и у них... — хлебовоз замялся, — как бы это сказать. — Подумал и не сказал. Я осторожно спросила:

— А что же своё, это так интересно, важно. Из этих чёрточек и складывается характер народа.

Иван Никитич покосился на ребят — они во все глаза уставились на него и тоже ждали. А хлебовоз вдруг принялся рассуждать очень уж поучительно, что молодые часто смеются над стариками, стараются их унижить, представить какими-то тёмными неучами. А прежде чем осуждать человека, его надо понять. Жизнь его надо знать...

— Да что вы, Иван Никитич. Дети себе не позволят плохого, — заверила я.

— Да я не про то.

— Про что же?

Но он опять не ответил. Мы так и двигались к Княжеву молча. Но вот раздвинулась, как раскрылись ворота, лесная полоса, деревня была уже близко. И тут я подумала о разговоре, который у меня состоялся с Иваном Андреевичем Макаровым, человеком добрейшей души, бывшим в то время председателем сельсовета.

— С божественностью они, — сказал он о княжевских. — Не все, конечно. Есть там несколько стариков...

— Сектанты?

— Да нет, православные. Везде в округе давно всё такое забыли, а у них ещё держится.

— Что держится? В чём она выражается, эта божественность?

— Видите ли, лет семь назад вздумалось им выгон скота с иконами совершить. Устроили вроде крёстного хода.

— И всё?

Он укоризненно посмотрел на меня добрыми, искренними глазами: вам, дескать, что, вы — люди свободные, а я тут — власть, с меня и спрос...

— А как это было? Расскажите, — я стала расспрашивать, но он потерял к разговору весь интерес.

— Подробностей не помню. Вы вот что, поговорите с Павлом Ерофеевичем Тепловым. Он был при этом...

— Иван Никитич! А вы Теплова случайно не знаете?

— Это учитель-то? Он родом, правда, отсюда, да уж давным-давно в Городище живёт. Сразу напротив школы, в той стороне.

— А что там за крёстный ход был в Княжеве?

— И разговору-то? Хотел сам сказать, да что вспоминать, дело прошлое...

— А всё же?..

— Лето, видишь ли, было мокрое, сено погнило, а то, какое сумели сберечь, кончилось ещё в марте. И люди маялись, и скотину жалко, не чаяли, как до выгона дотянуть. Чуть снег сошёл, взяли в часовне икону и за деревню скот повели. Вроде, значит, крёстного хода. Люди не знали, как выразить радость. Старик там один надоумил: «С иконой идите — великую благодать посылает земля. Кланяйтесь, благодарите...»

Только благости не получилось. Коровы, как почуяли волю, как побегли к траве. Изголодались за зиму. Пришлось икону в часовню вертать. Партийные, ясно, узнали про то. Срам. Пережиток.

Хлебовоз помолчал, подумал, добавил:

— Оно, конечно, вроде бы и никто не помер от этого, только уж, спрашивается, это теперь — к чему? Работали б летом получше, скоту не пришлось бы голодать. Вот то-то! Стали думать, что делать? Бороться? А как? Часовенка там у них, у княжеских-то, — отсюда не видно. В Криушкине тоже была посреди деревни, склад в ней теперь. И в Княжеве решили закрыть.

Пока обсуждали, решались, кто-то узнал и сразу слух по деревне пустил: Павел Ерофеевич Теплов — тот, какого вы спрашивали, — с председателем сельсовета Иваном Андреевичем Макаровым да с активистами — всего пять-шесть человек — идут закрывать часовню. Старик туда же бегом, как был дома в белых портках и длинной рубахе — только б успеть. Добежал, растопырил руки у двери, лохматый, трясёт бородой и кричит: «Не пушшу, убивайте!»

Они постояли, посмотрели, пожалели старика. Ладно, говорят, трогать не будем, но чтобы такого больше не повторялось. И разошлись. И то сказать, перемрут старики, всё с ними само и уйдёт.

Хлебовоз дёрнул вожжи, и лошадь, разомлевшая от тепла, сердито мотнула головой и неохотно прибавила шагу. Пулей, с гудением промчался шмель, будто ракета в неизвестность. Иван Никитич проводил его задумчивым взглядом. Вздохнул:

— Перемрут старики, и последние ниточки оборвутся. Мы уходим.

Он причислял себя к старикам, к тем, кто родился при старом укладе. До самой войны всё было в быту без видимых перемен, потом стало быстро меняться.

— Люди приходят какие-то непонятные, злых много. Не жалеют природу. А интересно посмотреть, какая жизнь будет после нас...

Доехав до центра Княжева, хлебовоз остановил свою колымагу, и, как в Криушкине, к возку заспешили женщины с сумками и кошелками. Мы распрощались с Иваном Никитичем, пошли вдоль деревни.

Дома стояли аккуратные, чистенькие, почти все обшитые тёсом, с палисадниками. На зелёных лужайках перед домами и по дороге разгуливали тяжёлые гуси, квохтали куры. Сушились нанизанные на нитках боровики. От них исходил крепкий и сладкий запах. Казалось, этим густым грибным ароматом дышала сама деревня и придвинувшиеся к ней вплотную, такие живые и щедрые, добрые русские леса, полные дарового и деликатесного, ставшего в магазинах редким продукта. Тут же его только бери, не ленись. Да береги кладовую. «Раньше свои ходили — берегли, а теперь всё больше наезжие — им что, сорвал и пошёл», — вспомнились сетования Анны Кукушкиной. Нет, всё же нужно определить отношения человека с природой. Так потребительски к ней относиться нельзя...

Мы отыскивали часовенку — скромное маленькое строение с пирамидкой серой драночной крыши.

Раньше такие часовенки ставили едва не по всем окрестным селениям. Некоторые отличались своеобразием, красотой — подлинные произведения искусства.

На территории Горицкого монастыря, в котором помещается нынче Историко-художественный музей, стоит одна такая часовня, построенная в первой половине прошлого века в деревне Фониинское Переславльского уезда. Бревенчатая, скреплённая коваными гвоздями, с высокой крышей и луковками куполов, внутри с иконами и деревянной скульптурой — замечательный образец народного реалистического искусства XVIII—XIX веков.

Княжеская часовня — скромнее и проще. Ничего нет в ней приметного, кроме разве примет времени.

И пока разглядывали её, мне всё чудилось, что за нами неотступно кто-то следит. То вроде мелькнуло в одном из окошек чьё-то лицо. Но оказалось, там буйно цвели герани да ветер слегка шевелил занавеску из тюля. И в то же время не покидало чувство настойчивого внимания, чьего-то присутствия, невидимого магнита.

Деда мы не нашли. Женщина, шедшая за водой с коромыслом, сказала, что видела его возле леса. Шёл потихоньку, опираясь на палочку.

— По грибы?

— Наверяд. Ему уж, поди, девяносто. Трудно кланяться-то. Так, посмотрит, подышит лесными прелями. Любит мир божий. Выйдет на огород и ходит, и смотрит не насмотрится, как всё растёт, поднимается из земли... «Чудо великое, — говорит, — благодать земная».

Нагулявшись, мы повернули, чтобы идти домой, и тут нас остановил взыскующий взгляд.

Из-за кромки ближней лесной полосы строгим синим оком смотрело на нас Плещеево озеро. Оно как-то выпятилось, поднялось из глубин своей чаши. Берегов его не было видно. За озером, как стена, стоял тёмный лес, и, казалось, он начинается от самой воды. На небе лежали пушистые облака. Что-то языческое, захватывающее было в этой подлинной и прекрасной картине. От неё исходили волны особой энергии. Она отзывалась в сердце и заставляла его сжиматься в волнении, рождала силу, высокое чувство любви.

В Криушкине озеро было близкое и совсем иное, своё, ставшее как бы частью деревни. Здесь же, казалось мне, это страж красоты, алмаз в ожерелье природы, светлая её тайна.

Те, кто видит это озеро каждый день, может, привык к его постоянно следящему взгляду, к его сияющей синеве.

Возможно ли к этому привыкнуть, чтобы не замечать совсем? Это органически с детских лет входит в человека. Это часть его самого, его мира, его восприятия красоты и любви. Оно проявляется в языке богатом и полном, находит своё выражение в песнях, мелодиях, в характерах, в той преданности, любви, с которой боролись за Родину и ратники Невского, и скромный наш спутник Иван Никитич, и те, кто любовь свою к Родине измерял самой высшей ценой — ценой своей жизни.

Это и было божественное, главное, источник высокого вдохновения. Родина.

И старик, о котором рассказывал хлебовоз, он — часть природы, часть прошлого Родины. Живое его олицетворение. Ах, как хотелось потолковать с ним по-старинному, неторопливо. А моим малолетним спутникам такой разговор, наверное, был ещё бы важнее.

По тёплой, обросшей васильками и пижмой дороге мы возвращались домой.

Снова вокруг колыхались хлеба. Пахло полем и пылью. В небе, трепеща, кувыркались жаворонки. Озеро двигалось навстречу. Синий его таинственный глаз, глядящий из прошлого, молча следил за нами, подтягивая к себе. И покой его сторожили леса и, как годы, плывущие вереницами, белые облака.

А как же всё-таки было с дружиной Невского? До сих пор ведь так и не удалось ничего узнать, хотя и ходила по деревням, пыталась у стариков. И вдруг учитель Теплов, к которому я зашла в Городище, сказал:

— А знаете, в Переславле есть краевед... В музее работает. Он здешний. Старинного рода. Может, он знает...

— Не Головин ли?

— Он самый!

— Да мы с ним знакомы. Он мне рассказывал легенду о Клещине...

— Спросите его о дружине.

— Как, право, не догадалась... — И вот я опять в музее...

Головин Леонид Иванович связан с ним с самого отрочества. В начале тридцатых годов, когда так круто менялась патриархальная деревенская жизнь, тоже совсем ещё молодой директор музея Константин Иванов позвал подростков Куманинской улицы и поручил собирать

то ценное, что отличало культуру прошлых веков. Сам он работал не в одиночку, опирался на помощь людей понимающих — учителей, художников и врачей, они занимались при музее, и особенно с ребятнёй: наблюдали склонности, направляли на доброе дело.

— Сколько же мы натащили тогда в музей! В ту пору рушили церкви, — вспоминал Головин. — Что найдём — к Иванову. Он посмотрит, посоветуется с людьми: «Это, мол, ценности не представляет. А это — какой-нибудь резной иконостас, скульптура из дерева — большая художественная ценность». И брал в музей.

В тридцать втором году мы ходили по сёлам и в одной деревне обнаружили курную избу. Жил в ней дед Аким. Дико жил. Один. Спал на печи, не мылся, золой вытирался. Стали его уговаривать — отдавай нам в музей избу, нет больше в районе такой. Последняя курная изба. Взамен предлагали дом под железом только что выселенного кулака.

Дед Аким упёрся. Твёрдит: «Не пойду. Мне чужого добра не надо».

Кто-то потом наудачу предложил идти ему в Дом престарелых. Старик поинтересовался:

«От государства будет?»

«Ну ясно, от государства. Там за тобой ухаживать будут. Бесплатно. Кормить, одевать...»

Аким тогда согласился, переехал и очень остался доволен. Избу же его разобрали по брёвнышку и на телеге — сюда. Видели в экспозиции? Он приходил её посмотреть.

Но меня интересовали раскопки.

— Может, что слышали о дружине?

Леонид Иванович задумался, покачал головой.

— Тут в прошлом веке Савельев копал. Сильный был археолог-историк. Его труды до сих пор изучают. Потом был Смирнов. Всё это до меня. Вы посмотрите материалы Смирнова. Там, кажется, что-то есть. Я этим не занимался...

Лора Васильевна Старостина, главный хранитель музея, дала мне два ящика с картотекой. В них — все находки Смирнова: керамика с ямочным орнаментом — весёлым ритмическим рисунком, каменные топоры, наконечники стрел, бронзовые изделия.

Я сделала любопытное открытие для себя: женщины, жившие в этих окрестностях много столетий назад, были модницы. Наверное, их любили мужья, коль делали для них столько украшений. Бронзовые браслеты — витые, плоские, выпуклые, с ромбовидным чеканным орнаментом и без всякого орнамента, подвески с бубенчиками и в виде гусиных лапок, колечки гладкие, перстни пластинчатые, пряжки фигурные, бусы.

Мужчины же были воинственны. И признак этого — секиры, топоры, копья, стрелы, щиты и мечи — оружие, которым они защищали свой дом от врага. Любили и лошадей. Седла, удила, стремена — всё это тоже было найдено при раскопках древнего города Клещина. И хотя Долгорукий перенёс его на другой берег озера почти за семьдесят лет до рождения Невского, жил же этот доблестный князь на Ярилиной плещи, рядом с бывшим Клещином, когда восстанавливал после набега Батыя родной Переславль. Могла находиться дружина с ним рядом, на этой возвышенности, окружённой валом, уцелевшим до нынешних дней.

Но находка актёра Васильева... Я сказала о ней в музее.

— А у нас тут, где ни копни, всюду древние, обжитые места. Глубокие корни пущены... — Леонид Иванович стал рассказывать о войнах, в которых принимали участие переславльцы, а я думала о красных звёздочках на домах криушан. Здоровая, крепкая поросль держалась на этих корнях...

1972—1976 гг. Криушкино.